

М Э Р И Ш Е Л Л И

---

# ПОСЛЕДНИЙ ЧЕЛОВЕК

---

РОМАН - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Мэри Шэлли  
**Последний человек**

«Автор»

2026

## Шэлли М.

Последний человек / М. Шэлли — «Автор», 2026

2096 год. По миру катится волна чумы, не знающая пощады. Города превращаются в кладбища, страны исчезают, а люди — в панических поисках спасения — только ускоряют собственную гибель. Лайонел Верни, свидетель этой катастрофы, ведёт дневник, где записывает всё: страх, жестокость, вспышки надежды и неизбежное угасание. Он переживает всех — и остаётся один на опустевшей земле. Мэри Шелли, подарившая миру «Франкенштейна», написала «Последнего человека» в 1826 году — задолго до появления жанра постапокалиптики. Современники не поняли этот мрачный роман, и он был почти забыт. Лишь в XX веке его переоткрыли и оценили пророческую силу: в нём предсказаны глобальные эпидемии, человеческий эгоизм перед лицом общей угрозы и невыносимая тяжесть одиночества. Сегодня, когда тема вымирания цивилизации стала почти обыденной, «Последний человек» звучит острее, чем когда-либо. Это не просто роман о конце света — это исповедь о том, что остаётся от нас, когда не остаётся никого вокруг.

© Шэлли М., 2026

© Автор, 2026

# Содержание

К СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ	5
Последний человек	7
ТОМ I	10
ГЛАВА I	10
ГЛАВА II	15
ГЛАВА III	24
ГЛАВА IV	30
ГЛАВА IV (продолжение)	38
ГЛАВА V	47
ГЛАВА VI	55
ГЛАВА VII	63
Конец ознакомительного фрагмента.	68

# Мэри Шелли

## Последний человек

### К СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЮ

Мэри Шелли (1797–1851) вошла в историю как автор бессмертного «Франкенштейна», но её литературное наследие гораздо шире. Она была не просто женой великого поэта, но и одной из ключевых фигур британского романтизма. Урождённая Мэри Уолстонкрафт Годвин, она появилась на свет в семье, где интеллектуальная жизнь была ключом: её отцом был философ Уильям Годвин, а матерью — знаменитая феминистка Мэри Уолстонкрафт. Мать умерла вскоре после родов, и Мэри росла в атмосфере напряжённых литературных и философских исканий. В 1814 году она встретила Перси Биши Шелли и вскоре бежала с ним на континент, навсегда связав свою судьбу с этим блистательным поэтом.

Именно во время их совместной поездки в Швейцарию, на вилле Диодати, в кругу лорда Байрона, родился замысел «Франкенштейна». Опубликованный в 1818 году, этот роман стал не просто визитной карточкой писательницы, но и одним из самых влиятельных произведений мировой литературы, стоящим у истоков научной фантастики.

Однако «Франкенштейн» — лишь вершина айсберга. Вторым по значению романом Мэри Шелли, по единодушному признанию исследователей, является «Последний человек» (The Last Man, 1826). В России это произведение долгое время оставалось почти неизвестным, хотя сейчас оно начинает обретать своего читателя. В отличие от готического «Франкенштейна», это роман-апокалипсис, действие которого разворачивается в конце XXI века. Страшная эпидемия чумы уничтожает всё человечество, оставляя в живых лишь одного человека — Лайонела Верни, который ведёт свой трагический дневник.

Оба романа — «Франкенштейн» и «Последний человек» — не случайно стоят рядом. Исследователи часто говорят о них как о философской диалогии, посвящённой темам творчества и разрушения. Если «Франкенштейн» — это история о том, как человек создаёт новую жизнь и становится творцом, то «Последний человек» — это хроника гибели всего человечества, своего рода надгробное слово уходящей цивилизации. «Франкенштейн» исследует ответственность творца перед своим созданием, а «Последний человек» — бессилие личности перед лицом безликой смерти и вселенского одиночества. В «Последнем человеке» больше политической сатиры, автобиографических мотивов и философской глубины.

Увы, современники не оценили этот смелый роман: критики встретили его в штыки, и он был почти забыт. Второе рождение «Последнего человека» состоялось лишь в 1960-х годах, когда исследователи заново открыли его пророческую силу и актуальность. Сегодня его считают одним из первых произведений постапокалиптической литературы, предвосхитившим целый жанр. В этом романе Мэри Шелли предстаёт перед нами не просто как талантливая рассказчица, но как глубокий философ, размышляющий о судьбах мира и месте человека во Вселенной — размышления, которые звучат сегодня более пронзительно, чем когда-либо.



## Последний человек Мэри Уолстонкрафт Шелли ВВЕДЕНИЕ

В 1818 году я побывал в Неаполе. Восьмого декабря мы с товарищем переправились через залив к Баям — посмотреть на древности, что разбросаны по тамошним берегам. Вода стояла прозрачная, искристая, тихая; сквозь неё проглядывали обломки римских вилл, заросшие водорослями и на солнце отдающие алмазным блеском. Море было такое синее и чистое, что по нему вполне могла бы скользить Галатея в своей перламутровой колеснице, а Клеопатра охотнее выбрала бы его для своего волшебного корабля, чем Нил. Стояла зима, но воздух тянул ранней весной — мягкое тепло пробуждало в душе то безмятежное удовольствие, какое знакомо всякому, кто не торопится покинуть эти тихие бухты и залитые светом мысы.

Мы обошли так называемые Елисейские поля и Аверн, побродили среди руин храмов, терм и прочих знаменитых мест, а под конец добрались до мрачной пещеры Кумской сивиллы. Наши проводники-неаполитанцы несли пылающие факелы, и их красноватый, почти тусклый свет едва пробивал густую темноту подземных ходов — тьма наваливалась со всех сторон, жадно пожирая огонь. Мы прошли мимо естественной арки, ведущей во вторую галерею, и спросили, нельзя ли войти туда. Проводники показали на отражение факелов в воде, залившей пол, и пожали плечами, мол, сами видите; добавили, что это как раз ход к пещере сивиллы, но, к сожалению, он затоплен. Наше любопытство разгорелось, мы настояли на попытке. Как часто бывает, трудности на деле оказались меньше, чем казались: по обе стороны от мокрой тропы нашлась достаточно сухая земля, чтобы ступать. В конце концов мы добрались до большой пустой пещеры, и проводники заверили, что это и есть логово сивиллы. Мы разочаровались — однако осмотрели её старательно, точно голые каменные стены всё ещё хранили следы небесной посетительницы. С одной стороны зияло маленькое отверстие.

— Куда оно ведёт? — спросили мы. — Можно войти?

— Questo poi, по, — ответил проводник с диковатым лицом, державший факел. — Немного пройти можно, но никто туда не ходит.

— Всё равно попробую, — сказал мой спутник. — Может, там настоящая пещера. Идешь со мной или побудешь здесь?

Я согласился. Проводники запротестовали: заговорили наперебой на своём неаполитанском наречии, которого мы почти не понимали, — толковали о призраках, об обвалах, о том, что проход для нас слишком узок, а внутри глубокая яма с водой, утонем. Мой друг оборвал их, выхватил факел у одного, и мы отправились вдвоём.

Сначала проход едва пропускал нас, потом становился всё уже и ниже, пришлось согнуться чуть не вдвое, но мы упорно лезли вперёд. Наконец мы выбрались в просторную полость, низкий свод поднялся; мы уже собирались поздравить себя с переменой, как сквозняк задул наш факел — и мы остались в полной темноте. Обычно проводники берут с собой трут и кресало, но у нас ничего не было, оставалось только возвращаться на ощупь. Мы обшарили расширившееся пространство, чтобы найти вход, и спустя время нам показалось, что мы на верном пути. Однако мы наткнулись на другой проход, который уходил вверх. Он оканчивался так же, как первый, но откуда-то — мы не могли понять — пробивался слабый, очень сомнительный свет. Глаза привыкли к этому полумраку, и мы заметили, что дальше прямого хода нет, однако по стене можно взобраться к низкой арке под потолком — там, судя по всему, путь становился легче, и оттуда, как мы теперь догадались, и шёл свет. С немалым трудом мы вскарабкались и вышли в другой проход, где света было больше; тот вёл к следующему подъёму, похожему на предыдущий.

После нескольких таких подъёмов — мы одолели их только благодаря упорству — мы добрались до широкой пещеры со сводчатым куполом. В середине потолка зияло отверстие, пропускавшее дневной свет, но оно заросло ежевикой и кустарником — они служили занавесью, смягчая яркость и придавая помещению торжественный, почти церковный оттенок. Пещера была просторной, почти круглой, у одной стены возвышался каменный выступ вроде греческого ложа. Единственным следом жизни здесь был совершенно белый скелет козы — видно, она не заметила дыры, когда паслась на холме, и рухнула вниз головой. С той поры, может, минули века; и пролом, что она проделала сверху, затянуло растительностью за много сотен лет.

В остальном пещера была завалена кучами листьев, обрывками коры и белым плёнчатым веществом, похожим на внутренность зелёного кукурузного початка, скрывающего ещё не созревшие зёрна. Мы устали от нашего пути и сели на каменное ложе; сверху доносились звон овечьих колокольчиков и перекликанье пастушка.

Вдруг мой спутник поднял несколько разбросанных листьев и воскликнул: «Это пещера сивиллы! Это сивиллины листья!» Мы присмотрелись — все листья, кора и прочие предметы были исписаны письменами. И что удивило нас ещё больше — письма эти были на разных языках: некоторые мой друг не узнал — древнехалдейский, египетские иероглифы, старые как пирамиды; а некоторые — на языках наших дней, английском и итальянском. При тусклом свете мы разобрали немного, но, судя по всему, они содержали пророчества, подробные описания совсем недавних событий; имена, теперь известные, но тогда ещё живые; и часто на тонких скудных страницах попадались восклицания — восторг или горе, победа или поражение. Это, без сомнения, была пещера сивиллы; не та, что описана у Вергилия, но весь этот край много раз сотрясали землетрясения и вулканы, так что изменения неудивительны, хотя следы разрушений давно стёрло время. Сохранились эти листья, вероятно, благодаря случаю, закрывшему устье пещеры, а густая растительность сделала единственное отверстие непроницаемым для бури.

Мы наспех выбрали те листья, что мог прочесть хоть кто-нибудь из нас, и, нагруженные добычей, распрощались с тусклой пещерой, пробившись назад к проводникам.

За всё время в Неаполе мы не раз возвращались в ту пещеру — иногда вдвоём, переплывая залив под солнцем, — и пополняли наше собрание. С тех пор, когда мирские дела не отвлекали и душевное состояние не мешало, я занимался расшифровкой этих священных остатков. Их смысл, чудесный и красноречивый, часто вознаграждал мои труды: утешал в горе и распалял воображение, унося его в бескрайние просторы природы и человеческого разума. Некоторое время я трудился не в одиночку; но то время прошло, и вместе с избранным, несравненным спутником я потерял и драгоценнейшую награду за наши труды —

Я думал показать тебе иной плод моих нежных листьев; и какое же свирепое светило позавидовало нам, мой благородный клад?

Теперь я предлагаю публике мои новейшие находки — эти хрупкие сивиллины страницы. Разрозненные и несвязные, какими они были, я вынужден был добавить связующие звенья и придать повествованию стройную форму. Но суть моя зиждется на истинах, заключённых в этих поэтических рапсодиях, и на том божественном озарении, что кумская дева получила с небес.

Я часто удивлялся предмету её стихов и английской одежде латинского поэта. Иногда мне казалось, что они, какими бы туманными и хаотичными ни были, обязаны своим теперешним видом мне, их расшифровщику. Словно мы отдали другому мастеру живописные кусочки, из которых составлена мозаичная копия Рафаэлева Преображения в соборе Святого Петра; он сложил бы их воедино, и очертания целого определил бы его собственный разум и талант. Без сомнения, листья Кумской сивиллы в моих руках претерпели искажения и утратили что-то от

первоначальной свежести и совершенства. Моё единственное оправдание — в их изначальной непостижимости.

Эти труды скрасили долгие часы одиночества, унесли из мира, отвернувшего от меня своё некогда благосклонное лицо, в мир, горящий воображением и силой. Спросят мои читатели, как я мог находить утешение в повествовании о бедствиях и горестных переворотах? Это одна из тайн нашей природы, которая властвует надо мной безраздельно, и от её влияния я не могу уйти. Я признаюсь, что не остался равнодушен к ходу этой истории; некоторые её части, которые я добросовестно переписал из своих материалов, повергали меня в уныние, даже мучили. Но такова человеческая природа: волнение ума мне дорого, и воображение, что рисует бурю и землетрясение, а то и буйные, чреватые гибелью страсти человека, смягчало мои настоящие печали и бесконечные сожаления, облекая их в ту идеальность, которая отнимает у боли её смертоносное жало.

Едва ли я знаю, нужны ли эти извинения. Достоинства моей обработки и перевода должны решить, насколько хорошо я употребил время и свои несовершенные силы, придавая плоть и форму хрупким, истончившимся Листьям Сивиллы.

## ТОМ I

### ГЛАВА I

Я родился на клочке земли, окружённом морем, в стране, затянутой тучами. Если мысленно окинуть земной шар с его безбрежными океанами и необъятными материками, эта точка покажется ничтожной. И всё же в духовном отношении она перевешивает страны куда более обширные и населённые. Так уж вышло: только человеческий разум создаёт для человека всё великое и доброе, а природа — лишь первый его слуга. Англия, затерянная далеко на севере в мутном море, теперь снится мне могучим кораблём, что уверенно идёт сквозь моря. В детстве она была для меня целой вселенной. Когда я стоял на родных холмах и глядел, как равнины и горы уходят за горизонт, покрытые селениями моих соотечественников и превращённые их трудом в плодородный край, мне казалось, что самый центр земли находится здесь, а всё остальное — лишь сказка, которую не стоило бы запоминать ни воображению, ни рассудку.

С самого начала моя судьба показывала, какую власть имеет изменчивость над человеческой жизнью. Мне это почти досталось по наследству. Мой отец принадлежал к тем, кого природа щедро одарила остроумием и воображением, но чью лодку пустила по воле ветров, не дав ни разума за руль, ни рассудка в кормчие. Происхождение его было незнатным; но обстоятельства рано вывели его в свет, и небольшое отцовское наследство быстро растаяло в блеске моды и роскоши, где он стал одной из заметных фигур. В те короткие годы беззаботной юности его обожали светские праздные люди, и не в последнюю очередь — молодой король, бежавший от партийных интриг и тяжких обязанностей правления, чтобы найти в его обществе неиссякаемый источник развлечений и душевного подъёма. Мой отец никогда не владел собой, его влекло постоянно, он вечно попадал в переделки, из которых выручала лишь его изобретательность. Гора долгов — и частных, и торговых — согнула бы любого другого к земле, но он держался легко, с неукротимой весёлостью; его так жаждали за столами и на собраниях богачей, что его проступки прощали, а его самого встречали пьянящей лестью.

Любая популярность быстротечна; трудности росли с ужасающей быстротой по сравнению со скудными возможностями спасения. В такие времена король, по-прежнему благоволя к нему, приходил на помощь, а затем дружески порицал; отец давал наилучшие обещания исправиться, но его общительный нрав, жажда привычного ему — всеобщего восхищения, и, хуже всего, азартная игра, полностью завладевшая им, делали его добрые намерения мимолётными, а обещания — пустыми. С быстрой чувствительностью, свойственной его характеру, он почувствовал, что влияние в блестящем кругу начинает таять. Король женился; австрийская принцесса, став королевой Англии, сурово смотрела на его недостатки и с презрением на привязанность, которую её супруг питал к нему. Отец чувствовал, что падение близко; но вместо того чтобы воспользоваться последним затишьем, он пытался забыть предвидимое зло, принося новые жертвы божеству удовольствия — вероломному и жестокому вершителю его судьбы.

Король, могущественный и добрый, чья доброта прежде была кротостью, а теперь обрела силу в увещеваниях, чередовал мольбу и упрёк, умоляя друга обратиться к истинным интересам, бежать от чар, которые на деле уже покидали его, и употребить свои великие силы на достойное поприще, где он, его государь, станет ему опорой, поддержкой и наставником. Мой отец ощутил эту доброту; на мгновение мелькнули честолюбивые мечты; он подумал, что неплохо было бы обменять нынешние занятия на более благородные. С искренностью и пылом он дал обещание; в залог благоволения он получил от короля сумму на уплату неотложных долгов и возможность вступить на новое поприще. В ту же ночь, ещё полный благодарности и добрых намерений, вся эта сумма — и вдвое больше — была проиграна за игор-

ным столом. Желая отыграться, отец поставил вдвое больше и наделал долгов чести, какие был совершенно не в силах оплатить. Стыдясь снова обращаться к королю, он повернулся спиной к Лондону, к его ложным удовольствиям и тягостным заботам; и, имея бедность единственной спутницей, зарылся в одиночестве среди холмов и озёр Камберленда. Его остроумие, каламбуры, память о внешней привлекательности и светских талантах долго помнили и передавали из уст в уста. Спросите теперь, где тот любимец моды, товарищ вельмож, этот дивный луч, золотивший своим блеском собрания придворных и весёлых, — вы слышали, он в опале, погибший человек; никому не приходило в голову, что он должен отплатить за удовольствие настоящими услугами, или что его долгое царствование блестящего остроумия заслуживает пенсии при отставке. Король сожалел о его отсутствии, любил повторять его изречения, рассказывать о совместных приключениях и превозносить его таланты — но на этом всё и кончалось.

Меж тем мой отец, забытый всеми, сам не мог забыть. Он роптал на потерю того, что было ему нужнее воздуха и пищи, — острых ощущений удовольствия, восхищения знати, роскошной жизни великих. Следствием стала нервная горячка; во время болезни за ним ухаживала дочь бедного крестьянина, в доме которого он поселился. Она была красива, нежна и, главное, добра к нему; неудивительно, что недавний кумир высокородной красоты даже в падшем состоянии казался простой деревенской девушке существом возвышенным и чудесным. Привязанность привела к несчастливому браку, от которого я родился. Несмотря на любовь и доброту моей матери, её муж всё ещё сокрушался о своём униженном положении. Непривычный к труду, он не знал, как содержать растущую семью. Иногда он думал обратиться к королю; гордость и стыд удерживали его; и прежде чем нужда стала настоящей, он умер. За короткий промежуток до этой катастрофы он смотрел в будущее и с тоской размышлял о безотрадной участи, в которой останутся жена и дети. Его последним усилием стало письмо к королю, исполненное трогательного красноречия и проблесков того блестящего ума, что был неотъемлемой частью его существа. Он завещал вдове и сирот дружбе короля и чувствовал удовлетворение, что его смерть лучше обеспечивает их благополучие, чем жизнь. Письмо вложили в конверт и передали вельможе, который, как он не сомневался, исполнит последнюю недорогую услугу — вручит его лично королю.

Он умер в долгах, и его небольшое имущество было тут же конфисковано кредиторами. Моя мать, оставшись без гроша, с двумя детьми, ждала неделями, месяцами в томительном ожидании ответа, который так и не приходил. У неё не было опыта за пределами отцовской хижины; усадьба помещика была главным образцом величия, какой она могла вообразить. При жизни отца она привыкла к именам королевской власти и придворных, но эти вещи, мало соответствуя её опыту, после утраты того, кто придавал им реальность, казались ей смутными и призрачными. Если бы при каких-то обстоятельствах она набралась смелости обратиться к знатым особам, упомянутым мужем, то неудача его собственного ходатайства отбила бы охоту. Она не видела иного выхода, кроме жестокой бедности: постоянные заботы, горе о потере того чудесного существа, которым она продолжала пламенно восхищаться, тяжкий труд и слабое здоровье — всё это избавило её от печальной череды нужды и страданий.

Положение осиротевших детей было особенно безотрадным. Её отец, эмигрант из другой части страны, умер давно: у них не было ни одного родственника, кто протянул бы руку; они были отверженные, нищие, бесприютные, кому самое скудное подаяние было лишь милостью, и кого считали просто детьми крестьян, ещё более бедных, чем самые бедные, которые, умирая, оставили их, неблагодарное наследство, скупому милосердию страны.

Мне, старшему из двоих, было пять лет, когда умерла мать. Воспоминания о разговорах родителей и о том, что мать пыталась внушить мне относительно друзей отца, в слабой надежде, что я когда-нибудь извлеку пользу из этого знания, бродили в моей голове как смутный сон. Я сознавал, что я иной и превосхожу моих опекунов и товарищей, но не знал, как и почему. Обида на имя короля и вельмож жила во мне, но я не мог извлечь из неё никакого

руководства к действию. Моё первое настоящее осознание себя — я беззащитный сирота среди долин и горных пустошей Камберленда. Я служил у фермера; с посохом в руке, с собакой у ноги пас многочисленное стадо на ближних возвышенностях. Не могу сказать много хорошего о такой жизни; её тяготы намного перевешивали удовольствия. В ней была свобода, общение с природой и беззаботное одиночество; но эти блага, как ни романтичны они были, не соответствовали любви к действию и желанию человеческого участия, свойственным юности. Ни забота о стаде, ни смена сезонов не могли обуздать мой пылкий дух; жизнь на открытом воздухе и свободное время стали искушением, рано приведшим меня к беззаконным привычкам. Я общался с другими такими же бесприютными, как я; я собрал их в шайку и стал их вожаком. Мы, пастушата, пока стада наши были разбросаны по пастбищам, замышляли и творили много озорных проказ, навлекая на себя гнев и месть деревенских жителей. Я был предводителем и защитником; и поскольку я выделялся среди них, их проступки обычно приписывались мне. Но пока я с мужеством героя переносил наказание и боль в их защиту, я требовал в награду их похвалы и послушания.

В такой школе мой характер стал суровым, но твёрдым. Жажда восхищения и малая способность к самообладанию, унаследованные от отца, вскормленные невзгодами, сделали меня дерзким и безрассудным. Я был груб, как стихии, и неучён, как животные, которых пас. Я часто сравнивал себя с ними и, находя своё главное превосходство в силе, вскоре убедил себя, что в силе я уступаю лишь величайшим властителям земли. Так, не обученный утончённой философии и гонимый беспокойным чувством унижения от моего истинного положения, я бродил среди холмов цивилизованной Англии таким же дикарём, как вскормленный волчицей основатель Рима. Я признавал лишь один закон — закон сильнейшего, и величайшим моим добродетельным поступком было никогда не подчиняться.

И всё же позвольте мне смягчить этот приговор себе. Моя мать, умирая, помимо прочих полузабытых наставлений, с торжественным увещанием вверила мне младшего ребёнка — сестру — под мою братскую опеку; и эту единственную обязанность я исполнял по силам, со всем рвением и привязанностью, какие была способна моя натура. Сестра была на три года младше; я нянчил её, когда она была младенцем, и хотя разница в полах давала нам разные занятия и часто разлучала, она всё же оставалась предметом моей заботливой любви. Сироты в самом полном смысле слова, мы были беднейшими из бедных и презираемыми среди не уважаемых. Если моя дерзость и смелость снискали мне род почтительного отвращения, то её молодость и пол, не возбуждая нежности, а лишь доказывая её слабость, были причиной бесчисленных унижений для неё; и её собственный характер не был устроен так, чтобы уменьшить пагубные последствия её низкого положения.

Она была существом необыкновенным и, как я, унаследовала многое от отцовского нрава. Лицо её было полно выражения; глаза не тёмные, но непостижимо глубокие — казалось, вы открываете пространство за пространством в их умном взгляде и чувствуете, что душа за этим взглядом охватывает всю вселенную мысли. Она была бледна и светла, золотые волосы вились у висков, их богатый оттенок контрастировал с живым мрамором кожи. Грубое крестьянское платье, не соответствующее, казалось, утончённости, выраженной на её лице, странно с ним сочеталось. Она была подобна одной из святых Гвидо<sup>1</sup> — с небесным светом в сердце и во взоре, так что, глядя на неё, вы думали только о том, что внутри, а наряд и даже черты лица были второстепенны по сравнению с душой, сиявшей в её облике.

И всё же, при всей своей прелести и благородстве, моя бедная Пердита — такое причудливое имя дала ей умирающая мать — не была образцом совершенства. Держалась она холодно, насторожённо. Если бы её растили с любовью, она могла бы стать другой; но нелюбимая и брошенная, она платила за отсутствие ласки недоверием и молчанием. Она была послушна тем, кто имел над нею власть, но на лице её лежала постоянная тень; она смотрела так, будто от каждого ждала враждебности, и все её поступки были продиктованы этим чув-

ством. Всякое свободное время она проводила одна. Бродила по самым глухим местам, взбиралась на опасные утёсы — там, в нехоженных углах, она укрывалась от людей. Часами ходила по лесным тропам, плела венки из цветов и плюща, следила за игрой теней и мельканием листьев; иногда садилась у ручья и, когда мысли останавливались, бросала в воду цветы или камешки — глядела, как одни плывут, другие тонут; или пускала по течению кораблики из коры и листьев с пёрышком вместо паруса и с напряжённым вниманием провожала их среди перекатов и отмелей. Воображение её в эти часы ткало тысячи узоров; она грезилась о приключениях на море и на суше, с наслаждением терялась в вымышленных странствиях и возвращалась к унылой действительности с неохотой. Бедность скрывала её достоинства; всё лучшее в ней могло зачахнуть без любви и участия. У неё не было даже того, что было у меня, — воспоминаний о родителях; она цеплялась за меня, брата, как за единственного друга, но наша близость только усиливала неприязнь опекунов; любую её ошибку они раздували в преступление. Если бы она воспитывалась в той среде, к какой по наследству была приспособлена, её бы почти обожали — её добродетели были так же выдающи́, как и недостатки. Весь гений, облагораживавший кровь отца, проявился и в ней; благородная струя текла в её жилах; притворство, зависть, низость были для неё чужды; лицо её, озарённое добрым чувством, могло бы принадлежать царице; глаза были светлы, взгляд бесстрашен.

Хотя наше положение и наши наклонности почти в равной мере отлучали нас от обычных людей, мы были полной противоположностью друг другу. Мне всегда были нужны возбуждение товарищества и похвала. Пердита обходилась собой. Несмотря на мои незаконные привычки, я был общителен, она — затворница. Моя жизнь проходила среди осязаемых вещей, её — была мечтой. Можно сказать, я даже любил своих врагов — они возбуждали меня и тем доставляли мне счастье; Пердита почти не любила даже друзей — они мешали её мечтам. Мои чувства, даже радость и торжество, становились горькими, если никто не разделял их; Пердита же, даже в радости, уходила в одиночество и могла днями существовать, не выражая своих чувств и не ища сочувствия. И при этом она умела любить, с нежностью ловила голос и взгляд друга, но держалась неизменно холодно и сдержанно. Всякое впечатление глубоко укоренялось в её душе, и она никогда не говорила, пока не соединяла увиденное с теми образами, что рождало её собственное воображение. Она была подобна плодородной почве, что впитывает небесную влагу и отвечает на неё цветением и плодами; но порой она бывала темна и сурова, как та же земля, взрыхлённая и засеянная невидимыми семенами.

Она жила в коттедже, чей ухоженный газон спускался к водам озера Улсуотер; буковый лес поднимался по склону позади, а журчащий ручей, нежно падая с высоты, бежал через затённые тополями берега в озеро. Я жил у фермера — его дом стоял выше в горах; за ним поднимался тёмный утёс, и, обращённый к северу, снег лежал в его расщелинах всё лето. До рассвета я выводил стадо на пастбища и сторожил его весь день. Жизнь была трудная: дождь и холод выпадали чаще, чем солнце, но я гордился тем, что презираю стихии. Моя верная собака сторожила овец, пока я отлучался на сходки с товарищами, а оттуда — на исполнение наших замыслов. В полдень мы снова сходились и, пренебрегая скудной крестьянской едой, разводили костёр, чтобы жарить дичь, украденную в соседних угодьях. Затем следовали рассказы о смертельных опасностях, схватках с собаками, засадах и бегстве; мы хлопотали у котла, словно цыгане. Поиски заблудшего ягнёнка или уловки, чтобы избежать наказания, заполняли послеполуденные часы; вечером стадо возвращалось в загон, а я — к сестре.

По правде сказать, редко нам удавалось выйти сухими из воды. Наша добыча часто обменивалась на побои и заключение. Однажды, когда мне было тринадцать, меня отправили на месяц в окружную тюрьму. Я вышел оттуда ничуть не исправленным, а ненависть к притеснителям удесятилась. Хлеб и вода не усмирили меня, одиночное заключение не внушило кротких мыслей. Я был зол, нетерпелив, несчастен; единственные счастливые часы я проводил, вынашивая планы мести; они совершенствовались в моём вынужденном уединении, и весь

следующий сезон — меня освободили в начале сентября — я неизменно добывал отличную и обильную пищу для себя и товарищей. Это была славная зима. Сильный мороз и глубокие снега укротили зверей и держали помещичьих господ у каминов; мы добывали дичи больше, чем могли съесть, и мой верный пёс залоснился от объедков.

Так шли годы; они лишь усиливали во мне любовь к свободе и презрение ко всему, что не было столь же диким и грубым, как я сам. К шестнадцати годам я внешне уже достиг мужского возраста; я был высок и силён, упражнялся в подвигах силы и привык к непогоде. Моя кожа загорела на солнце, походка стала твёрдой от сознания собственной мощи. Я не боялся никого и не любил никого. Впоследствии я с удивлением оглядывался на то, кем был тогда; каким никчёмным я бы стал, если бы продолжал свою незаконную стезю. Моя жизнь походила на жизнь зверя, а ум рисковал одичать вместе со мной. До сих пор мои дикие привычки не приносили мне коренного вреда; физические силы росли и крепили, и разум, проходя через ту же школу, проникся суровыми добродетелями. Но теперь моя хвалёная независимость ежедневно подстрекала меня к тирании, и свобода превращалась в распущенность. Я стоял на пороге возмужалости; страсти, крепкие, как лесные деревья, уже пустили во мне корни и готовы были омрачить мой жизненный путь пагубной порослью.

Я жаждал предприятий, выходящих за пределы детских проказ, и лелеял болезненные мечты о будущих подвигах. Я избегал прежних товарищей и вскоре потерял их. Они достигли того возраста, когда их посылали на предназначенные места; я же, изгой, без того, кто направил бы меня или толкнул вперёд, остановился. Старые люди начали указывать на меня как на пример для подражания, молодые — удивляться мне как существу, отличному от них самих; я ненавидел их и начал — последнее и худшее унижение — ненавидеть себя. Я цеплялся за свои свирепые привычки, но втайне презирал их; я вёл войну против цивилизации, но при этом питал желание принадлежать ей.

Я снова и снова перебирал в памяти всё, что мать рассказывала мне о прежней жизни отца; я рассматривал те немногие его вещи, что у меня остались, — они говорили о большей утончённости, чем можно было встретить в горных хижинах; но ничто не указывало мне пути к иной, более приятной жизни. Мой отец был связан с вельможами, но всё, что я знал о таких связях, — это последующее пренебрежение. Имя короля — того, к кому мой умирающий отец обратил свои последние молитвы и который варварски пренебрёг ими — ассоциировалось у меня только с недобротой, несправедливостью и обидой. Мне казалось, что судьба готовит мне иную участь, и я стану чем-то большим; но величие, по крайней мере в моём искажённом восприятии, не было необходимым спутником добра, и мои буйные мысли не сдерживались нравственными соображениями, когда они бесчинствовали в мечтах о славе. Так я стоял на вершине, и море зла катилось у моих ног; я готов был броситься в него и ринуться, подобно потоку, сквозь все преграды к цели моих желаний. Но тут в мою жизнь вмешалась чужая воля. Она изменила её течение, и бурный поток, готовый снести всё на своём пути, постепенно превратился в спокойный ручей, текущий среди лугов.

---

<sup>1</sup> Гвидо Рени (1575–1642) — итальянский живописец, известный изображениями святых с одухотворённым, небесным выражением лиц.

## ГЛАВА II

Я жил далеко от людных мест, и вести о войнах или политических переменах доходили до наших горных убежищ лишь слабым отзвуком. В раннем детстве Англия была ареной важных потрясений. В 2073 году последний из её королей, старый друг моего отца, отрёкся от престола, уступив настойчивым требованиям подданных, и была установлена республика. Свергнутому монарху и его семье выделили крупные поместья; он получил титул графа Виндзорского, а Виндзорский замок, древняя королевская резиденция, с обширными владениями вошёл в число дарованных ему богатств. Вскоре он умер, оставив двоих детей — сына и дочь.

Бывшая королева, принцесса австрийского дома, долго побуждала мужа противостоять велениям времени. Гордая и бесстрашная, она лелеяла любовь к власти и питала горькое презрение к тому, кто лишил себя короны. Ради одних лишь детей она согласилась остаться, лишённая королевского достоинства, гражданкой английской республики. Овдовев, она обратила все помыслы на воспитание сына Адриана, второго графа Виндзорского, чтобы осуществить свои честолюбивые замыслы; с молоком матери он впитал намерение вернуть утраченную корону. Адриану теперь было пятнадцать лет. Он прилежно учился и был наделён знаниями и талантом сверх своих лет; говорили, что он уже начал перечить взглядам матери и придерживаться республиканских принципов. Как бы то ни было, надменная графиня никому не доверяла тайн своего домашнего воспитания. Адриан рос в уединении, вдали от естественных товарищей своего возраста и звания. Некое неизвестное обстоятельство побудило мать отослать его из-под своей непосредственной опеки; и мы услышали, что он собирается посетить Камберленд. Ходила тысяча слухов, объяснявших поведение графини Виндзорской; вероятно, ни один не был правдив; но с каждым днём становилось всё более определённо, что благородный отпрыск недавнего королевского дома Англии будет среди нас.

В Улсуотере находилось крупное поместье с усадьбой, принадлежавшее этому семейству. Владения включали обширный парк, разбитый с большим вкусом и изобиловавший дичью. Я часто совершал набеги на эти заповедные уголья; запущенное состояние владений облегчало мои вторжения. Когда решили, что молодой граф Виндзорский посетит Камберленд, прибыли рабочие, чтобы привести дом и земли в порядок для его приёма. Комнаты восстановили в первоначальном великолепии, парк, все повреждения в котором исправили, охраняли с необычайной тщательностью.

Это известие несказанно встревожило меня. Оно пробудило все мои дремлющие воспоминания, мои затаённые чувства обиды и породило новое чувство — мести. Я больше не мог заниматься своими делами; все мои планы и уловки были забыты; мне казалось, я собираюсь начать жизнь заново, и под недобрыми предзнаменованиями. Борьба, думал я, начинается. Он приедет победоносно в тот край, куда мой отец бежал с разбитым сердцем; он найдёт злополучное потомство, с такой тщетной уверенностью вверенное его королевскому отцу, жалкими нищими. Я был уверен: если он и узнает о нашем существовании, то отнесётся к нам с тем же презрением, какое его отец проявлял на расстоянии и в отсутствии; это казалось мне неизбежным следствием всего происшедшего. Итак, я встречу этого титулованного юнца — сына друга моего отца. Он будет ограждён слугами; вельможи и сыновья вельмож будут его спутниками; вся Англия гремит его именем; и его приезд, подобный грозе, слышен издалека: я же — неграмотный и необразованный. Если я столкнусь с ним, его придворные приспешники увидят во мне лишь живое напоминание о той неблагодарности, которая сделала меня тем униженным существом, каким я казался.

Всецело поглощённый этими мыслями, я, как замороженный, бродил вокруг предназначенного жилища молодого графа. Я следил за ходом работ и стоял у разгружавшихся фургонов, когда различные предметы роскоши, привезённые из Лондона, вынимались и переноси-

лись в усадьбу. Бывшая королева задумала окружить сына княжеским великолепием. Я видел богатые ковры и шёлковые драпировки, золотые украшения, искусно чеканные изделия, гербовую мебель и все атрибуты высокого сана — всё было устроено так, чтобы ничто, кроме царственного великолепия, не достигало глаз отпрыска королевского рода. Я смотрел на это, переводил взгляд на свою убогую одежду. Откуда это различие? Откуда, как не от неблагодарности, не от лжи, не от отречения со стороны отца принца от всякого благородного сочувствия и великодушного чувства. Несомненно, и он, в чьей крови текла примесь от гордой матери, — он, живое воплощение богатства и знатности страны, был научен произносить имя моего отца с презрением и насмехаться над моими справедливыми притязаниями на защиту. Я старался думать, что всё это великолепие — лишь более вопиющее бесчестье, и что, водружая своё златотканое знамя рядом с моим потускневшим и истрепавшимся стягом, он провозглашает не своё превосходство, а своё падение. И всё же я завидовал ему. Его табун прекрасных лошадей, его оружие дорогой работы, хвала, сопутствовавшая ему, поклонение, услужливые слуги, высокое положение и высокое уважение — я считал их насильно отнятыми у меня и завидовал им с новой и мучительной горечью.

Чтобы довершить моё смятение, Пердита, мечтательная Пердита, вдруг пробудилась к реальной жизни с восторгом и сообщила мне, что граф Виндзорский собирается прибыть.

— И это тебя радует? — мрачно заметил я.

— Ещё бы, Лайонел, — ответила она. — Мне очень хочется увидеть его; он потомок наших королей, первый вельможа страны; все им восхищаются и любят его, и говорят, что его знатность — наименьшее из его достоинств; он щедр, храбр и приветлив.

— Ты выучила хороший урок, Пердита, — сказал я, — и повторяешь его так буквально, что забываешь при этом доказательства добродетелей графа; его щедрость к нам явствует из нашего изобилия, его храбрость — из той защиты, которую он нам оказывает, его приветливость — из внимания, которое он нам уделяет. Его знатность — наименьшее из достоинств, говоришь ты? Почему, все его добродетели проистекают только из его положения; потому что он богат, его называют щедрым; потому что он могущественен — храбрым; потому что вокруг него все предупредительны — приветливы. Пусть называют его так, пусть вся Англия верит, что он таков, — мы знаем его — он наш враг — наш скупой, трусливый, высокомерный враг; если бы он был наделён хотя бы одной частицей тех добродетелей, которые ты ему приписываешь, он поступил бы с нами по справедливости, хотя бы для того, чтобы показать, что если уж он должен поразить, то не поверженного врага. Его отец обидел моего отца — его отец, неприступный на своём троне, посмел презирать того, кто только и унился ниже себя, когда снизошёл до общения с королевским неблагодарным. Мы, потомки того и другого, также должны быть врагами. Он узнает, что я чувствую свои обиды; он научится бояться моей мести!

Через несколько дней он прибыл. Каждый обитатель самой жалкой хижины вышел, чтобы влиться в толпу, хлынувшую ему навстречу; даже Пердита, несмотря на мою недавнюю филиппику, пробралась к дороге, чтобы увидеть этого кумира всех сердец. Я же, сходящий с ума, встречая одну за другой группы деревенских жителей в их праздничной одежде, спускавшихся с холмов, удалился на их окутанные облаками вершины и, глядя на бесплодные скалы вокруг, воскликнул: «Они не кричат: да здравствует граф!» И когда наступила ночь, с морозящим дождём и холодом, я не хотел возвращаться домой; я знал, что каждая хижина звучит хвалами Адриану; по мере того как я чувствовал, как мои члены немеют и стынут, моя боль лишь разжигала мою ненависть; более того, я почти торжествовал в ней, ибо она давала мне, как мне казалось, повод и оправдание для моей ненависти к моему равнодушному противнику. Всё приписывалось ему, ибо я до такой степени смешивал воедино понятия отца и сына, что забывал, что последний мог быть совершенно не осведомлён о пренебрежении его родителя к нам; и, ударяя рукой по своей ноющей голове, я вскрикивал: «Он услышит об этом! Я отомщу! Я не

буду страдать, как болонка! Он узнает, нищим и бесприютным, каков я есть, что я не покорно снесу обиду!»

С каждым днём, с каждым часом обиды усиливались. Его похвалы жалили, как гадюки, мою уязвимую грудь. Если я видел его издали, скачущим на прекрасном коне, кровь моя закипала; самый воздух казался отравленным его присутствием, и мой родной английский язык превращался в презренное наречие, ибо каждая фраза, которую я слышал, была сопряжена с его именем и честью. Я жаждал снять это мучительное напряжение каким-нибудь проступком, который заставил бы его осознать мою вражду. Самым тяжким его оскорблением было то, что он внушал мне такие невыносимые чувства и не достаивал сам никаким знаком того, что сознаёт, что я вообще существую, чтобы их испытывать.

Вскоре стало известно, что Адриан получает большое удовольствие, гуляя по своему парку и угодыям. Он никогда не охотился, но проводил часы, наблюдая за стадами прелестных и почти ручных животных, которыми они были наполнены, и распорядился, чтобы за ними ухаживали как никогда тщательно. Здесь открывалось поле для моих оскорбительных планов, и я воспользовался им со всей грубой стремительностью, которую приобрёл благодаря своему деятельному образу жизни. Я предложил моим немногим оставшимся товарищам, самым решительным и беззаконным из всей шайки, заняться браконьерством в его владениях; но они все отшатнулись от опасности; так что я остался один, чтобы осуществить свою месть.

Сначала мои подвиги оставались незамеченными; моя дерзость возрастала; следы на влажной траве, обломанные ветви и следы побоища наконец выдали меня егерям. Они стали лучше следить; меня поймали и отправили в тюрьму. Я вошёл в её мрачные стены в состоянии мрачного торжества: «Теперь он чувствует меня, — вскричал я, — и будет чувствовать снова и снова!» — Я пробыл в заключении всего один день; вечером меня освободили, как мне сказали, по приказу самого графа. Это известие низвергло меня с моей воображаемой геройской высоты. «Он презирает меня, — думал я, — но он узнает, что я презираю его и равно презираю его наказания и его снисхождение.» На вторую ночь после моего освобождения меня снова схватили егеря — снова заключили и снова отпустили; и снова, такова была моя упрямая настойчивость, четвёртая ночь застала меня в запретном парке.

Егеря были более раздражены моим упорством, чем их господин. Они получили приказ, что если меня снова поймут, меня должны привести к графу; и его снисходительность заставляла их опасаться, что исход будет слишком мягким. Один из них, который с самого начала был зачинщиком среди тех, кто меня схватил, решил удовлетворить свою собственную злобу, прежде чем передать меня высшим властям.

Поздний закат луны и крайняя осторожность, которую я был вынужден соблюдать в этой моей третьей вылазке, заняли так много времени, что что-то вроде приступа страха охватило меня, когда я увидел, как тёмная ночь уступает место сумеркам. Я пробирался вдоль папоротников, на четвереньках, ища тенистые заросли кустарника, в то время как птицы просыпались с нежеланным пением наверху, и свежий утренний ветер, играя среди ветвей, заставлял меня подозревать шаги за каждым поворотом. Моё сердце билось быстрее, когда я приблизился к изгороди; моя рука уже легла на одну из жердей, один прыжок — и я по ту сторону, как вдруг двое егерей выскочили из засады на меня: один сбил меня с ног и принялся безжалостно хлестать хлыстом. Я вскочил — в руке у меня был нож; я метнулся к его поднятой правой руке и нанёс глубокую, широкую рану в его ладонь.

Ярость и вопли раненого, завывания проклятий его товарища, на которые я отвечал с равной горечью и бешенством, разносились по долине; рассвет всё более занимался, плохо сочетаясь в своей небесной красоте с нашей грубой и шумной схваткой. Я и мой враг всё ещё боролись, когда раненый воскликнул: «Граф!» Я вырвался из геркулесовой хватки егеря, задыхаясь от усилий; я бросил бешеные взгляды на своих преследователей и, прижавшись спиной к дереву, решил защищаться до последнего. Моя одежда была разорвана и, как и руки, перепач-

кана кровью человека, которого я ранил; одна рука сжимала мёртвых птиц — мою с трудом добытую добычу, другая держала нож; мои волосы спутались; моё лицо было перепачкано теми же преступными знаками, которые свидетельствовали против меня на окровавленном оружии, которое я сжимал; весь мой вид был измождённым и грязным. Будучи высоким и мускулистым по сложению, я должен был выглядеть тем, кем и был, — самым обыкновенным головорезом.

Имя графа поразило меня и заставило всю негодующую кровь, согревавшую моё сердце, хлынуть мне в щёки; я никогда не видел его раньше; я представлял себе надменного, важного юношу, который прочтёт мне нотацию, если удостоит меня словом, со всей высокомерной снисходительностью. Мой ответ был готов; упрёк, который, как я полагал, должен был уязвить его в самое сердце. Он между тем подошёл; и его появление, подобно западному ветерку, рассеяло мою ярость: передо мной стоял высокий, стройный, белокурый мальчик с физиономией, выражавшей высочайшую степень чувствительности и утончённости; утренние солнечные лучи золотили его шёлковистые волосы и озаряли его сияющее лицо.

— Что это значит? — вскричал он. Егеря поспешно начали свою защиту; он отстранил их, сказав: — Двое на одного, и на мальчишку — стыдно! — Он подошёл ко мне: — Верни, — вскричал он, — Лайонел Верни, неужели мы встретимся так в первый раз? Мы рождены быть друзьями; и хотя злая судьба разлучила нас, не признаете ли вы наследственные узы дружбы, которые, я надеюсь, отныне нас объединят?

Когда он говорил, его серьёзные глаза, устремлённые на меня, казалось, читали мою душу: моё сердце, моё дикое мстительное сердце, почувствовало, как на него снизошло влияние кроткой доброты; в то время как его звучный голос, подобный сладчайшей мелодии, пробудил во мне немое эхо, всколыхнувшее всю мою кровь до глубины. Я хотел ответить, признать его доброту, принять предложенную дружбу; но слов, подходящих слов, не нашлось у грубого горца; я протянул бы руку, но её преступное пятно удержало меня. Адриан сжалился над моим колеблющимся видом:

— Пойдём со мной, — сказал он, — мне много нужно сказать тебе; пойдём ко мне — ты знаешь, кто я?

— Да, — воскликнул я, — я верю, что теперь я знаю вас и что вы простите мои ошибки.

Адриан мягко улыбнулся и, отдав распоряжения егерям, подошёл ко мне; взяв меня под руку, мы вместе пошли к усадьбе.

Не его знатность — после всего, что я сказал, конечно, не заподозрят, что именно знатность Адриана с самого начала покорила глубины моего сердца и повергла весь мой дух ниц перед ним. И не я один чувствовал так глубоко его совершенства. Его чувствительность и обходительность очаровывали всех. Его живость, ум и деятельный дух благожелательности довершали победу. Даже в таком юном возрасте он был глубоко начитан и проникнут духом высокой философии. Этот дух придавал его общению с другими тон неотразимого убеждения, так что он казался вдохновенным музыкантом, который с непогрешимым искусством ударял по струнам ума и извлекал из неё божественную гармонию. С виду он едва ли принадлежал этому миру; его хрупкое тело казалось переполненным душой, обитавшей в нём; он весь был дух; «Человек — лишь тростинка, — прикоснись к его груди, и она сломила бы его силу; но могущество его улыбки укротило бы голодного льва или заставило бы легион вооружённых людей сложить оружие у его ног.»

Я повёл с ним этот день. Сначала он не возвращался к прошлому или, впрочем, к каким-либо личным происшествиям. Вероятно, он хотел внушить мне доверие и дать мне время собраться с мыслями. Он говорил на общие темы и давал мне понятия, о которых я прежде не имел представления. Мы сидели в его библиотеке, и он говорил о древних греческих мудрецах и о той власти, которую они приобрели над умами людей единственно через силу любви и мудрости. Комната была украшена бюстами многих из них, и он описывал мне их характеры. Когда он говорил, я чувствовал себя во власти его влияния; и вся моя хваленая гордость и

сила были укрощены медовыми речами этого юного голубоглазого Адриана. Упорядоченный и ограждённый мир цивилизации, на который я прежде взирал из моей дикой чащи как на недосыгаемый, он открыл для меня; я переступил порог и почувствовал, что ступаю по родной земле.

Вечером, когда мы остались одни, он заговорил о прошлом.

— Мне нужно кое-что тебе рассказать, — сказал он, — и многое объяснить. Возможно, ты сможешь мне сократить этот рассказ. Ты помнишь своего отца? Мне не довелось его видеть, но его имя — одно из моих самых ранних воспоминаний: в моей памяти он остался образцом всего самого благородного, любезного и обаятельного в человеке. Его остроумие не было заметнее той доброты, что переполняла его сердце; он так щедро расточал её на друзей, что, увы, для себя самого оставалось слишком мало.

Ободрённый этой похвалой, я в ответ на его расспросы рассказал всё, что помнил об отце; а он поведал мне, почему отцовское письмо осталось без ответа. Когда впоследствии отец Адриана, король Англии, почувствовал, что его положение становится всё опаснее, а дела всё запутаннее, он снова и снова вспоминал друга юности — того, кто мог бы стать оплотом против неистового гнева королевы, посредником между ним и парламентом. С того самого дня, как он покинул Лондон в ту роковую ночь проигрыша, король не получал о нём вестей; а когда спустя годы попытался его разыскать, всякий след был утерян. С ещё большим сожалением, чем прежде, он цеплялся за память о нём и наказал сыну: если тот когда-нибудь встретит этого дорогого друга, то от его имени оказать всяческую помощь и заверить, что до самого конца привязанность короля пережила разлуку и молчание.

Незадолго до приезда Адриана в Камберленд наследник того вельможи, которому мой отец доверил своё последнее обращение к королю, передал молодому графу письмо с нетронутой печатью. Оно нашлось случайно среди старой кипы бумаг. Адриан прочёл его с глубоким интересом и нашёл в нём тот живой дух ума и остроумия, о котором так часто слышал. Он узнал название места, куда удалился мой отец и где умер; узнал о существовании его осиротевших детей; и в короткий промежуток между своим прибытием в Улсуотер и нашей встречей в парке он успел навести справки и разработать планы для нашей пользы, ещё до того как представился нам.

То, как он говорил о моём отце, было лестно для моего тщеславия; завеса, которую он деликатно набросил на свою благотворительность, ссылаясь на послушное исполнение последней воли короля, смягчала мою гордость. Другие чувства, доселе почти неведомые, пробудились в ответ на его примирительные манеры и великодушную теплоту — уважение, восхищение и любовь. Он коснулся моего сердца, и оно, словно камень, смягчилось под его влиянием; привязанность хлынула из него — вечная и чистая. Вечером мы расстались; он пожал мою руку.

— Мы ещё увидимся. Приходи завтра.

Я сжал эту добрую руку, попытался ответить — и выдал только пылкое: «Благослови вас Бог!» — и выбежал вон, подавленный новыми чувствами.

Я не мог усидеть на месте. Я поднялся в холмы; западный ветер нёсся над ними, звёзды мерцали в вышине. Я бежал, не замечая внешних предметов, пытаюсь усмирить бурю у себя в груди через телесную усталость. «Вот она, власть! — думал я. — Не в конской силе, не в жестокости, свирепости и дерзости, а в доброте, сострадании и мягкости». Остановившись, я сжал руки и с пылом новообращённого вскричал: «Не сомневайся во мне, Адриан: я тоже стану мудрым и добрым!» — и, совершенно обессилев, разрыдался.

Когда этот порыв прошёл, я почувствовал себя спокойнее. Я лёг на землю и, дав волю мыслям, мысленно перебрал свою прежнюю жизнь, слой за слоем снимая множество своих заблуждений, и понял, каким звероподобным, диким и никчёмным я был до сих пор. Я не мог, однако, испытывать раскаяния — мне казалось, что я родился заново; душа сбросила бремя

прошлого, чтобы начать новое поприще в невинности и любви. Ничего жёсткого или грубого не осталось, чтобы раздражать нежные чувства, пробуждённые событиями этого дня; я был как дитя, лепечущее молитвы вслед за материнским голосом, — моя податливая душа была перекована его искусным прикосновением, которому я не желал и не мог противиться.

Это было начало моей дружбы с Адрианом, и я должен считать этот день счастливейшим в моей жизни. Теперь я начал становиться человеком. Я вступил в ту священную область, что отделяет человеческую умственную и нравственную природу от животной. Мои лучшие чувства пробудились, чтобы достойно откликнуться на великодушие, мудрость и кротость моего нового друга. Он, с присущим ему благородством, находил безграничное наслаждение в том, чтобы щедро расточать сокровища своего ума и состояния на долго оставленного без внимания сына друга своего отца — потомка того даровитого человека, чьи достоинства и таланты он слышал изо дня в день с детства.

После отречения покойный король удалился от политики, однако семейный круг давал ему мало утешения. У бывшей королевы не было добродетелей домашней жизни, а те — мужество и отвага, — что у неё были, стали бесполезны после отречения мужа: она презирала его и не скрывала этого. Король, уступая её требованиям, отрёкся от старых друзей, но под её руководством не приобрёл новых. В этой пустоте сочувствия он обратился к своему почти младенцу-сыну; раннее развитие таланта и чувствительности делало Адриана достойным хранителем отцовского доверия. Он никогда не уставал слушать часто повторяемые отцом рассказы о старых временах, в которых мой отец играл выдающуюся роль; его меткие замечания передавались мальчику и запоминались; его остроумие, обаяние, даже недостатки были освящены сожалением любви; его утрата искренне оплакивалась. Даже нелюбовь королевы к фавориту не смогла лишить его восхищения сына: она была горькой, язвительной, презрительной — но поскольку она обрушивала своё тяжкое порицание одинаково на его добродетели и на его ошибки, на его преданную дружбу и на его дурные привязанности, на его бескорыстие и на его расточительность, на его привлекательную грацию и на его податливость искушению, — все эти нападки оказывались слишком разнородными и не достигали цели. И её гневное нерасположение не помешало Адриану представлять моего отца, как он и сказал, образцом всего самого благородного, любезного и обаятельного в человеке. Неудивительно поэтому, что, узнав о существовании потомства этого знаменитого человека, он замыслил даровать им все преимущества, какие его положение делало доступными. Когда он нашёл меня бездомным пастухом с гор, браконьером, безграмотным дикарём, его доброта не оскудела. Вдобавок к мысли, что его отец в известной степени был виновен в пренебрежении к нам и что он обязан всячески заглаживать это, он был так добр сказать, что под моей грубостью проглядывает возвышенность духа, которую можно отличить от простой животной храбрости, и что я унаследовал сходство лица с отцом — доказательство того, что не все его добродетели и таланты умерли вместе с ним. Что бы ни перешло ко мне из этого, мой благородный юный друг решил, что это не должно быть утрачено из-за недостатка развития.

Руководствуясь этим планом, он привёл меня к желанию разделить ту образованность, что украшала его собственный ум. Мой деятельный ум, раз уж ухватился за эту новую идею, вцепился в неё с необычайной жадностью. Сначала великой целью моего честолюбия было сравняться с достоинствами отца и стать достойным дружбы Адриана. Но вскоре проснулось любопытство и искренняя любовь к знанию, заставлявшая меня проводить дни и ночи за чтением и учёбой. Я уже хорошо знал картину природы — смену времён года и различные явления неба и земли. Но я был одновременно изумлён и очарован этим внезапным расширением кругозора, когда завеса, скрывавшая мир интеллекта, была отдёрнута, и я увидел вселенную не только такой, какой она представлялась моим внешним чувствам, но и такой, какой она являлась мудрейшим из людей. Поэзия и её творения, философия и её изыскания — всё это пробудило дремавшие во мне идеи и дало новые.

Я чувствовал себя мореплавателем, который с мачты впервые заметил берега Америки; и подобно ему, я спешил рассказать своим товарищам об открытии неведомых земель. Но мне не удалось возбудить в них той же жажды знания, что пылала во мне. Даже Пердита не могла понять меня. Я жил в том, что обычно называют миром реальности, и для меня стало открытием, что во всём, что я вижу, есть более глубокий смысл, чем тот, что передают глаза. Мечтательная Пердита видела во всём этом лишь новый глянец на старом чтении, и её собственного было достаточно, чтобы насытить её. Она слушала меня, как слушала рассказы о моих приключениях, и иногда проявляла интерес к такого рода сведениям; но она, в отличие от меня, не смотрела на это как на неотъемлемую часть своего существа, которую, однажды приобретя, уже нельзя сбросить, как всеобщее чувство осязания.

Мы оба сходились в любви к Адриану: хотя она, ещё не вышедшая из детства, не могла, как я, оценить всю меру его достоинств или чувствовать ту же симпатию к его занятиям и мнениям. Я был неразлучен с ним. В его характере была чувствительность и мягкость, придававшая нашим беседам нежный и неземной оттенок. При этом он был весел, как жаворонок, поющий с высоты, парил мыслью, как орёл, и невинен, как кроткая горлица. Он мог развеять серьёзность Пердиты и снять остроту с мучительной деятельности моей натуры. Я оглядывался на свои беспокойные желания и мучительные столкновения с ближними как на тяжёлый сон и чувствовал себя пережившим так, будто перевоплотился в другую форму, чей новый орган чувств и механизм нервов изменили отражение вселенной в зеркале ума. Но это было не так; я оставался тем же по силе, по жадной жажде сочувствия, по стремлению к деятельному проявлению. Мои мужские добродетели не покинули меня — сила моя не оскудела, а лишь смягчилась и очеловечилась. Адриан учил меня не только холодным истинам истории и философии. В то же время, когда он через них приучал меня обуздывать свой необузданный и неотёсанный дух, он открывал моему взгляду живую страницу своего собственного сердца и давал мне чувствовать и понимать его чудесный характер.

Бывшая королева Англии даже в младенчестве пыталась внушить сыну дерзкие и честолюбивые замыслы. Она видела, что он наделён гением и незаурядным талантом; она развивала их ради того, чтобы впоследствии использовать для своих планов. Она поощряла его жажду знаний и неукротимую смелость; она даже терпела его необузданную любовь к свободе, надеясь, что это приведёт к страсти к властвованию. Она старалась внушить ему чувство обиды на тех, кто способствовал отречению его отца, и желание отомстить им. В этом она не преуспела. Рассказы, которые он получал, как бы ни были искажены, о великой и мудрой нации, утверждающей своё право на самоуправление, вызывали его восхищение: в ранние годы он стал республиканцем по убеждению. И всё же мать не отчаивалась. К любви к власти и гордости рождения она добавила решительное честолюбие, терпение и самообладание. Она посвятила себя изучению характера сына. С помощью похвалы, порицания и увещаний она пыталась найти и задеть нужные струны; и хотя мелодия, звучащая при её прикосновении, казалась ей диссонансом, она строила надежды на его таланты и была уверена, что в конце концов покорит его. То изгнание, в котором он теперь находился, произошло по другим причинам.

У бывшей королевы была также дочь, теперь двенадцати лет; его сестра-фея, как говаривал Адриан; прелестная, живая крошка, вся — чувствительность и правдивость. С этими своими детьми благородная вдова постоянно жила в Виндзоре и не принимала посетителей, кроме своих сторонников, путешественников из родной Германии и нескольких иностранных министров. Среди них, и весьма к ней приближённый, был князь Заими, посол свободных государств Греции в Англии; и его дочь, юная принцесса Эвадна, проводила много времени в Виндзорском замке. В обществе этой живой и умной гречанки графиня иногда позволяла себе отдохнуть от обычного достоинства. Её виды на собственных детей налагали ограничения на все её слова и поступки по отношению к ним; но Эвадна была игрушкой, которой она никоим

образом не могла опасаться; и её таланты и живость были немалым облегчением однообразия жизни графини.

Эвадне было восемнадцать лет. Хотя они проводили много времени вместе в Виндзоре, крайняя юность Адриана исключала какие-либо подозрения относительно их отношений. Но он был пылок и нежен сердцем сверх обычной человеческой меры и уже научился любить, в то время как прекрасная гречанка благосклонно улыбалась мальчику. Мне, который, хоть и был старше Адриана, никогда не любил, было странно видеть эту жертву моего друга всем сердцем. В его чувстве не было ни ревности, ни беспокойства, ни недоверия; это было обожание и вера. Его жизнь была поглощена существованием возлюбленной; и его сердце билось лишь в унисон с жизнью, бившейся в ней. Это был тайный закон его жизни — он любил и был любим. Вселенная была для него домом, чтобы обитать в нём со своей избранницей; и не устройство общества или цепь событий могли даровать ему счастье или горе. Что, если жизнь и система общественных отношений — пустыня, джунгли, кишачие тиграми! Среди всех её заблуждений, в глубине её диких чащоб есть расчищенная и цветущая тропа, по которой они могут идти в безопасности и наслаждении. Их путь будет подобен пути через Красное море, по которому они могут пройти, не замочив ног, хотя стена гибели нависает с обеих сторон.

Увы! Зачем я записываю эту злополучную иллюзию непревзойдённого образца человечества? Что есть в нашей природе, что вечно побуждает нас к страданию и горю? Мы не созданы для наслаждения; и как бы мы ни были настроены на восприятие приятных эмоций, разочарование — неизменный кормчий нашего корабля, который безжалостно несёт нас к мелям. Кто был лучше создан, чем этот одарённый юноша, чтобы любить и быть любимым и пожинать неотъемлемую радость от безупречной страсти? Если бы его сердце проспало ещё несколько лет, оно могло бы быть спасено; но оно пробудилось в своей младенческой поре; у него была сила, но не было знания, и оно было погублено, подобно тому как слишком рано распустившийся бутон сражён убийственным морозом.

Я не обвинял Эвадну в лицемерии или желании обмануть возлюбленного; но первое письмо, которое я увидел от неё, убедило меня, что она не любит его; оно было написано изящно и, несмотря на то что она была иностранкой, с большим владением языком. Сам почерк был изящным; в выборе бумаги и способе складывания чувствовалось изящество. В её выражении было много доброты, благодарности и нежности, но не было любви. Эвадна была на два года старше Адриана; и кто в восемнадцать лет любит того, кто так младше? Я сравнивал её безмятежные послания с пламенными письмами Адриана. Казалось, его душа переливалась в слова, которые он писал; они дышали на бумаге, неся с собой частицу той жизни любви, которая была его жизнью. Сам процесс письма истощал его; и он плакал над ними, лишь от избытка эмоций, которые они пробуждали в его сердце.

Лицо Адриана было зеркалом его души, и скрытность или обман были чужды его бесстрашной откровенности. Эвадна настоятельно просила, чтобы история их любви не была открыта его матери; и после некоторого препирательства он уступил ей. Тщетная уступка; его поведение быстро выдало тайну зорким глазам бывшей королевы. С той же осторожной предусмотрительностью, что отличала всё её поведение, она скрыла своё открытие, но поспешила удалить сына из круга прекрасной гречанки. Его отправили в Камберленд; но план переписки между влюблёнными, составленный Эвадной, был скрыт от неё. Таким образом, отсутствие Адриана, задуманное для разлучения, связало их ещё более крепкими узами, чем прежде. Он беспрестанно говорил со мной о своей любимой ионийке. Её страна, её древние летописи, её недавние достопамятные борьбы — всё это получало долю её славы и совершенства. Он подчинялся разлуке с ней, потому что она приказала ему это; но без её влияния он объявил бы о своей привязанности перед всей Англией и с непоколебимой стойкостью противостоял бы сопротивлению матери. Женская рассудительность Эвадны понимала, что любое заявление о его намерениях было бы бесполезно, пока возраст не придаст веса его словам и положению.

Возможно, кроме того, в ней таилась скрытая неохота связывать себя перед всем миром с тем, кого она не любила — во всяком случае, не любила той страстной восторженностью, которую, как подсказывало ей сердце, она могла бы однажды почувствовать к другому. Он подчинился её наказам и провёл год в изгнании в Камберленде.

## ГЛАВА III

Блаженные, трижды блаженные были те дни, недели и месяцы того года. Дружба, восхищение, нежность, уважение — все они будто сплели для моего сердца кров, ещё недавно такого грубого, словно дикая чащоба, бездомный ветер или пустынное море. Жажда знаний и безграничная любовь к Адриану заполнили мою душу и разум без остатка — я был счастлив. Какое счастье может сравниться с тем бурным восторгом, что ищет слов и не находит их, — с тем упоением, что дарит нам молодость? Мы плавали по озеру в нашей лодке, сидели у ручьёв под бледными тополями, бродили по долинам и холмам. Я отбросил пастуший посох и пас теперь куда более благородное стадо, чем глупые овцы, — стадо только что рождённых мыслей. Я читал или слушал Адриана, и его речи — шла ли речь о любви или о его замыслах переустроить мир — одинаково захватывали меня. Иногда во мне просыпалось былое беззаконие — жажда опасности, непокорность власти; но это случалось лишь в его отсутствие. Под кротким взглядом его глаз я становился послушным и добрым, как пятилетний ребёнок, выполняющий материнский наказ.

Прожив около года в Улсуотере, Адриан съездил в Лондон и вернулся, полный планов на наш счёт. «Тебе пора начать своё поприще, — сказал он. — Тебе семнадцать; чем дольше мы будем ждать, тем труднее будет тебе учиться». Он знал, что его собственная жизнь будет полна борьбы, и хотел, чтобы я разделил с ним этот труд. Чтобы лучше подготовить меня к этому, нам следовало расстаться. Он нашёл, что моё имя открывает многие двери, и устроил меня личным секретарём посла в Вене — там я вступлю в жизнь при самых благоприятных обстоятельствах. Через два года я вернусь на родину с именем, которое будет у всех на устах, и с прочной репутацией.

А Пердита? — Пердита должна была стать ученицей, подругой и младшей сестрой Эвадны. С обычной своей предусмотрительностью, он обеспечил ей независимость в этом положении. Как отказаться от такого великодушного друга? Я и не хотел отказываться; но в глубине души я поклялся посвятить ему всю свою жизнь, все знания и силы — всё, что имело хоть какую-то ценность и что было им же даровано, — все мои способности и надежды без остатка.

Так я обещал себе, когда направлялся к месту назначения, полный пробудившегося, нетерпеливого ожидания: я ждал исполнения всего того, что в юности мы сулим себе в зрелости — власти и наслаждения. Мне казалось, настала пора оставить детские забавы и войти в жизнь. Даже в Елисейских полях, как описывает Вергилий, души блаженных жаждут испытать волну забвения, чтобы вернуться в смертную оболочку. Молодость редко знает Элизиум — желания вечно опережают возможности, оставляя нас такими же нищими, как должник, у которого нет ни гроша. Мудрецы твердят нам об опасностях мира, о человеческом коварстве и о том, как легко обмануться собственному сердцу; но, несмотря на всё это, каждый бесстрашно отчаливает от берега, ставит паруса и налегает на вёсла, чтобы плыть по бесчисленным течениям житейского моря. Как мало кто в расцвете юности бросает якорь у «золотых песков» и собирает раковины, которыми они усыпаны! Но к исходу дня, с разбитыми досками и рваными парусами, все устремляются к берегу — и либо гибнут, не достигнув его, либо находят какой-нибудь приют, пустынный, избитый волнами берег, где и могут бросить свой корабль и умереть неоплаканными.

Довольно философии! Жизнь передо мной, и я вступаю в неё. Надежда, слава, любовь и безупречное честолюбие — вот мои проводники, и душа моя не ведает страха. То, что было, даже если сладко, прошло; настоящее хорошо лишь тем, что вот-вот переменится, а будущее — всё моё. Разве я боюсь? Моё сердце бьётся, но высокие стремления разгоняют кровь; мне

кажется, я проникаю взглядом сквозь облачную ночь времён и различаю в её глубине исполнение всех желаний моей души.

Теперь стой! — Пока я был в пути, я мог мечтать и на крыльях достигнуть вершины того великого здания, что зовётся жизнью. Но теперь я у его подножия, крылья сложены, передо мной огромные ступени, и я должен взбираться на них шаг за шагом —

Но скажи, какая дверь открыта?

И вот я в новом положении. Я дипломат, один из тех, кто ищет удовольствий в этом весёлом городе; многообещающий юноша, любимец посла. Всё это было странно и удивительно для пастуха из Камберленда. С замирием сердца я вступил на эту блестящую сцену, чьи действующие лица —

— лилии, славные, как Соломон,  
Которые не трудятся и не прядут<sup>1</sup>.

Но слишком скоро я попал в этот водоворот, забыв и об учёбе, и об обществе Адриана. Страстная жажда сочувствия и жадное стремление ко всему, что казалось желанным, по-прежнему владели мной. Красота пленяла меня, а приятные манеры — мужчины или женщины — сразу завоёвывали моё доверие. Я называл восторгом биение сердца от чьей-то улыбки; я чувствовал, как кровь струится в жилах, когда приближался к идолу, которому поклонялся какое-то время. Сам поток жизни был для меня раем; и, когда наступала ночь, я желал лишь одного — чтобы это опьяняющее наваждение повторилось. Сверкающий свет нарядных комнат, прелестные фигуры в роскошных одеждах, танцы, сладостные звуки музыки — всё это убаюкивало мои чувства в одном сладком сне.

И разве это не своего рода счастье? Я спрашиваю моралистов и мудрецов: чувствуют ли они в тишине своих размеренных грёз, в глубоких размышлениях, наполняющих их дни, тот экстаз, что переживает юный новичок в школе наслаждений? Могут ли спокойные лучи их устремлённых к небу глаз сравниться с ослепительными вспышками страсти, что пленяют его; или холодное прикосновение философии дарует их душе радость, равную той, что он испытывает, предаваясь любезному занятию юного разгула<sup>2</sup>?

Но по правде сказать, ни одинокие размышления отшельника, ни буйные восторги гуляки не способны насытить человеческое сердце. От одного мы получаем беспокойные умозрения, от другого — пресыщение. Ум слабеет под тяжестью мысли и угасает в бессердечном обществе тех, чья единственная цель — развлечение. Нет плода в их пустой любезности, и под улыбочивой гладью этих мелких вод скрываются острые скалы.

Так я чувствовал, когда разочарование, усталость и одиночество загнали меня обратно в моё сердце — в поисках той радости, которую оно уже не могло мне дать. Мой угасающий дух искал что-то, что отзывалось бы на чувства, и, не находя, впал в уныние. Так что, несмотря на бездумное наслаждение, сопутствовавшее началу моей венской жизни, общее впечатление от неё осталось печальным. Гёте сказал, что в юности мы не можем быть счастливы, если не любим. Я не любил; но меня пожирало беспокойное желание быть для кого-то значимым. Я становился жертвой неблагодарности и холодного кокетства; затем впал в уныние и вообразил, что моё недовольство даёт мне право ненавидеть мир. Я уединился, принимался за книги — и желание снова оказаться рядом с Адрианом превращалось в гучую жажду.

К этим чувствам примешивалась горечь, почти переходящая в зависть: в то время имя и подвиги одного из моих соотечественников наполнили мир восхищением. Рассказы о его деяниях и догадки о его будущих планах были главной темой дня. Я не обижался за себя, но мне казалось, что похвалы, которыми осыпали этого кумира, были подобны листьям, оторванным от лаврового венка, предназначенного Адриану. Но я должен рассказать об этом любимце славы, баловне изумлённого мира.

Лорд Раймонд был последним отпрыском знатного, но обедневшего рода. С ранней юности он с гордостью взирал на свою родословную и горько сожалел о недостатке богатства. Его

первым желанием было возвышение; а средства, ведущие к этой цели, были для него второстепенны. Гордый, но трепещущий при каждом проявлении уважения; честолюбивый, но слишком гордый, чтобы показывать своё честолюбие; жаждущий почестей, но при этом служитель удовольствий — таким он вступил в жизнь. У самого порога его ждало оскорбление, действительное или мнимое; отпор там, где он меньше всего ожидал; разочарование, которое его гордости было трудно снести. Он мучился обидой, которую не мог отомстить; и покинул Англию с клятвой не возвращаться, пока не настанет час, когда она почувствует силу того, кого сейчас презирает.

Он стал авантюристом в греческих войнах. Его безрассудная храбрость и всеобъемлющий гений привлекли к нему внимание. Он стал любимым героем этого возрождающегося народа. Его иностранное происхождение и нежелание отречься от верности своей родине — только это мешало ему занять первые должности в государстве. Но хотя другие могли стоять выше по титулу и церемониям, лорд Раймонд занимал положение, стоящее над ними. Он вёл греческие армии к победе; их триумфы были всецело его заслугой. Когда он появлялся, целые города выходили ему навстречу; на их национальные мотивы складывали новые песни, и их темой была его слава, доблесть и щедрость. Между греками и турками было заключено перемирие. В то же время лорд Раймонд, по какому-то неожиданному случаю, стал обладателем огромного состояния в Англии, куда и вернулся, увенчанный славой, чтобы получить почести и отличия, прежде недоступные для его притязаний. Гордое сердце его возмутилось против этой перемены. Чем стал теперь Раймонд, если не тем же самым, кем был прежде? Если это изменение вызвано приобретением власти в виде богатства, то эту власть они должны почувствовать как железное иго. Власть, следовательно, была целью всех его усилий; возвышение — его вечной мишенью. В открытых честолюбивых замыслах или тайных интригах его цель была одна — достичь верховной власти в своей стране.

Этот рассказ наполнил меня любопытством. События, последовавшие за его возвращением в Англию, пробудили во мне ещё более острые чувства. Среди прочих своих достоинств лорд Раймонд был в высшей степени красив; все им восхищались, у женщин он был кумиром. Он был обходителен, сладкоречив — искусен во всех искусствах обольщения. Чего не мог бы добиться этот человек в деятельном английском мире? Перемены сменяли одна другую; до меня доходили лишь обрывки, ибо Адриан перестал писать, а Пердита была скупа на письма. Распространился слух, что Адриан стал — как написать это роковое слово — безумен; что лорд Раймонд — фаворит бывшей королевы и наречённый жених её дочери. Больше того, что этот честолюбивый вельможа возродил притязания дома Виндзоров на корону и что в случае неизлечимой болезни Адриана и его брака с сестрой честолюбивого Раймонда может быть увенчано короной.

Такая весть разнеслась повсюду; такая весть сделала моё дальнейшее пребывание в Вене, вдали от друга юности, невыносимым. Теперь я должен исполнить свой обет; теперь встать на его сторону, быть его союзником и опорой до самой смерти. Прощай, придворное удовольствие! Прощай, политическая интрига! Прощай, лабиринт страсти и безумия! Приветствую тебя, Англия! Родная земля, прими своё дитя! Ты — сцена всех моих надежд, великий театр, где разыгрывается единственная драма, способная увлечь меня всей душой. Неотразимый голос, всемогущая сила влекли меня туда. После двухлетнего отсутствия я ступил на её берега, не смея ни о чём расспрашивать, боясь каждого слова. Мой первый визит будет к сестре, которая жила в маленьком коттедже, подарке Адриана, на краю Виндзорского леса. От неё я узнаю правду о нашем покровителе; я услышу, почему она удалилась из-под опеки принцессы Эвадны, и узнаю, какое влияние этот возвысившийся Раймонд оказывает на судьбу моего друга.

Я никогда раньше не бывал в окрестностях Виндзора; плодородие и красота этой земли поразили меня, и восторг мой рос по мере приближения к древнему лесу. Развалины величе-

ственных дубов, которые росли, цвели и умирали на протяжении веков, обозначали границы бывшего леса; разрушенные изгороди и заброшенный подлесок показывали, что эта часть оставлена под новые насаждения, обязанные своим рождением началу девятнадцатого века и теперь стоящие в гордом расцвете. Скромное жилище Пердиты находилось на краю самой древней части леса. Перед ним простирался Бишопгейт-Хит, казавшийся бесконечным на востоке и ограниченный на западе Чапел-Вудом и рощей Вирджиния-Уотер. Позади коттедж был осе-нён почтенными старцами леса, под которыми паслись олени; эти деревья, по большей части дуплистые и гнилые, образовывали причудливые группы, контрастировавшие с правильной красотой более молодых деревьев. Те — потомки более позднего времени — стояли прямо и, казалось, готовы были бесстрашно шагнуть в будущее; а эти, изношенные странники, обломанные, разбитые, цеплялись друг за друга, и их слабые ветви вздыхали под порывами ветра — обветренная команда.

Лёгкая ограда окружала садик коттеджа, который, скромный и приземистый, казалось, подчинился величию природы и жался среди почтенных останков забытых времён. Цветы — дети весны — украшали сад и оконные рамы; среди этой скромности чувствовался налёт изящества, говоривший о вкусе обитательницы. С бьющимся сердцем я вошёл в калитку; когда я стоял у порога, я услышал её голос — столь же мелодичный, как прежде, — и ещё до того, как увидел её, он уверил меня, что с ней всё благополучно.

Ещё мгновение — и Пердита появилась. Она стояла передо мной в свежем расцвете юной женственности, иная и в то же время та же, что и горная девочка, которую я оставил. Глаза её не могли быть глубже, чем в детстве, ни лицо — выразительнее; но выражение изменилось и стало тоньше; на челе её лежал отпечаток разума; когда она улыбалась, лицо её озарялось мягчайшей чувствительностью, а её тихий, певучий голос был полон любви. Её фигура обрела самые женственные пропорции; она была невысока, но горная жизнь придала свободу её движениям, так что её лёгкая поступь почти не была слышна, когда она перебежала через холл, чтобы встретить меня. Когда мы расставались, я с неудержимой нежностью прижимал её к груди; мы встретились снова, и пробудились новые чувства: когда каждый увидел другого, детство осталось позади, и мы стояли друг перед другом как взрослые люди на этой изменчивой сцене. Пауза длилась лишь мгновение; поток воспоминаний и естественных чувств, сдерживаемый до сих пор, хлынул полной волной в наши сердца, и с нежнейшим волнением мы снова бросились в объятия друг другу.

Когда этот порыв страсти прошёл, мы сели рядом, успокоившись, и заговорили о прошлом и настоящем. Я намекнул на холодность её писем; но те несколько минут, что мы провели вместе, достаточно объяснили причину. В ней возникли новые чувства, которых она не могла передать в письме тому, кого знала только ребёнком; но мы снова увидели друг друга, и близость наша возобновилась, словно разлуки и не было. Я рассказал о событиях моего пребывания за границей, а затем спросил о переменах, произошедших дома, о причинах отсутствия Адриана и её уединённой жизни.

Слёзы, затуманившие глаза сестры, когда я упомянул о нашем друге, и её зардевшиеся щеки, казалось, подтверждали слухи, дошедшие до меня. Но смысл этих слёз был слишком ужасен, чтобы я тотчас поверил своим подозрениям. Неужели в самом деле царил хаос в возвышенном мире мыслей Адриана, неужели безумие разметало его стройные легионы, и он больше не властвовал над собственной душой? Любимый друг, этот жестокий мир не был климатом для твоего нежного духа; ты отдал его во власть лживому человечеству, которое сорвало с него листву до зимы и обнажило его трепещущую плоть под злым дыханием жесточайших ветров. Неужели те нежные глаза, те «окна души» утратили свой смысл, или в своей ярости они являют лишь ужасную повесть о её помрачении? Неужели тот голос больше не «изливает прекрасную музыку»? Ужасно, ужаснее всего! Я закрываю глаза в страхе перед переменами, и хлынувшие слёзы свидетельствуют о моём сострадании к этой невообразимой гибели.

По моей просьбе Пердита подробно рассказала мне печальные обстоятельства, приведшие к этой катастрофе.

Ум Адриана, открытый, щедро одарённый природой, наделённый превосходными способностями, незапятнанный ни одним недостатком (если только его бесстрашную независимость мысли нельзя назвать таковым), был принесён в жертву его любви к Эвадне. Он вверил её хранению все сокровища своей души, свои стремления к совершенству и планы переустройства человечества. По мере того как он взрослел, его замыслы и теории, вместо того чтобы изменяться под влиянием личных и благоразумных соображений, только укреплялись благодаря его возрастающим силам. Его любовь к Эвадне росла с каждым днём, ибо он всё яснее видел, что избранный им путь полон препятствий и что награду ему следует искать не в похвале или благодарности ближних и даже не в успехе своих начинаний, а в одобрении собственного сердца и в её любви и сочувствии, которые должны облегчать ему каждый труд и вознаграждать каждую жертву.

В одиночестве и в долгих странствиях вдали от людских жилищ он развивал свои взгляды на преобразование английского правления и улучшение участи народа. Было бы лучше, если бы он скрывал свои убеждения, пока не накопил бы достаточно власти для их осуществления. Но он не хотел ждать, он был чистосердечен и бесстрашен. Он не только дал решительный отказ на планы своей матери, но и открыто объявил о своём намерении употребить всё своё влияние на то, чтобы ограничить власть аристократии, добиться большего равенства в богатстве и правах и ввести в Англии совершенную систему республиканского правления. Сначала его мать считала его теории просто дикими бреднями неопытности. Но они были так тщательно разработаны, а его доводы так неопровержимы, что, хотя внешне она ещё делала вид, что не верит им, она начала бояться его. Она попыталась спорить с ним и, убедившись в его непреклонности, научилась ненавидеть его.

Как ни странно, этот восторг оказался заразительным. Его рвение во имя блага, которого никто не мог разглядеть; его пренебрежение к священной неприкосновенности власти; его горячность и неблагоприятное — всё это было чуждо привычному укладу жизни. Светские люди боялись его; молодые и неопытные не понимали возвышенной строгости его нравственных правил и не любили его за то, что он был слишком непохож на них. Эвадна относилась к его теориям довольно прохладно. Она одобряла его упорство в отстаивании своих взглядов, но желала, чтобы эти взгляды были более понятны большинству. В ней не было готовности к самопожертвованию, и она не разделяла бы унижения и поражения павшего борца. Она признавала чистоту его побуждений, великодушие его натуры, его искреннюю и пылкую привязанность к ней и питала к нему большую нежность. Он отвечал на эту доброту с глубочайшей благодарностью и вверял ей все свои надежды.

В это время лорд Раймонд вернулся из Греции. Невозможно было представить двух людей более несхожих, чем Адриан и он. При всей противоречивости своего характера Раймонд был в полном смысле человеком света. Страсти его были сильны; они часто им овладевали, и тогда он поступал вопреки собственной выгоде, но по крайней мере удовлетворение собственных желаний всегда было для него главной целью. Он смотрел на устройство общества как на часть того механизма, что поддерживал ткань, на которой была вышита его жизнь. Земля была для него проложенной дорогой; небо — воздвигнутым над ним куполом.

Адриан же чувствовал себя частью великого целого. Он был в родстве не только с человечеством — вся природа была ему сродни; горы и небо были его друзьями; ветры и всё рождённое землёй — его сотоварищами; он, средоточие этого могучего мира, чувствовал, что жизнь его сливается с жизнью вселенной. Его душа была сочувствием и поклонением красоте и совершенству. Теперь Адриан и Раймонд столкнулись, и между ними возникла вражда. Адриан презирал узость взглядов политика, а Раймонд с величайшим презрением относился к благодушным мечтам филантропа.

С появлением Раймонда разразилась буря, которая единым ударом сокрушила те сады наслаждений и укромные тропы, что Адриан, как ему казалось, приготовил себе как убежище от поражения и унижения. Раймонд, освободитель Греции, блистательный воин, чей облик вмещал всё то, что Эвадна, как дочь своей страны, привыкла ценить превыше всего, — Раймонда полюбила Эвадна. Ошеломлённая новыми чувствами, она не стала их разбирать или соразмерять с ними своё поведение — она подчинилась этому внезапному, властному порыву, овладевшему её сердцем. Она отдалась его влиянию, и слишком естественным следствием в душе, не привыкшей к нежности, стало то, что внимание Адриана сделалось ей тягостно. Она стала капризной; её прежняя ласковость сменилась резкостью и холодной отчуждённостью. Порою, видя страдание на его лице, она смягчалась и на время возвращалась к своей прежней доброте. Но эти колебания потрясали чувствительную душу юноши до глубины; он больше не считал себя властелином мира, ибо обладал любовью Эвадны; всем своим существом он чувствовал, что грозные бури духовной вселенной готовы обрушиться на его хрупкое создание, которое трепетало в ожидании их удара.

Пердита, жившая тогда у Эвадны, была свидетельницей мук Адриана. Она любила его как доброго старшего брата, как наставника, покровителя и друга, чья власть не была обременительной. Она обожала его добродетели и со смешанным чувством презрения и негодования видела, как Эвадна заставляет его страдать ради того, кто едва замечал её. В своём одиноком отчаянии Адриан часто искал общества своей сестры и в туманных намёках повествовал о своих страданиях, и тогда мужество и агония попеременно овладевали его умом. Скоро, увы! одно должно было восторжествовать. Гнев не был частью его душевных мук. На кого ему гневаться? Не на Раймонда, который не ведал о причиняемых им страданиях; не на Эвадну, ибо по ней его душа плакала кровавыми слезами — бедная, заблудшая девочка, она была скорее рабой, чем тираном, и в собственных муках он оплакивал её будущую участь. Однажды его рукопись попала в руки Пердиты; она была залита слезами — и вполне могла быть залита ими.

«Жизнь, — начиналось там, — не то, что описывают романисты: будто стоит пройти все фигуры танца и после разных эволюций достичь конца, где танцоры усаживаются отдыхать. Пока есть жизнь, есть движение и перемена. Мы идём дальше, каждая мысль порождает следующую, каждое действие вытекает из предыдущего. Ни одна радость, ни одна печаль не умирает бесплодной, но, порождая и порождаясь вновь, ткёт ту цепь, из которой соткана наша жизнь:

Так день за днём, и вновь и вновь,  
Из слёз и слёз, из бед и бед  
Плетётся звеньев длинный ряд.

Истинно, разочарование — страж человеческой жизни; оно сидит на пороге времени и направляет события, когда те появляются на свет. Когда-то сердце моё билось легко в груди; весь мир казался вдвое прекраснее, озарённый солнечным светом, исходящим из моей собственной души. Зачем же любовь и гибель всегда соединены в нашей смертной грезе? Так что, когда мы открываем сердце этому кроткому на вид зверю, вместе с ним входит и его спутник, который безжалостно опустошает то, что могло бы стать домом и приютом.»

Мало-помалу его здоровье было подточено страданиями, а затем и рассудок его не выдержал той же тирании. Нрав его стал диким; то он впадал в ярость, то погружался в безмолвную печаль. Внезапно Эвадна покинула Лондон и уехала в Париж; он последовал за ней и настиг её, когда корабль уже готов был отплыть; никто не знает, что произошло между ними, но Пердита больше не видела его с тех пор. Он жил в уединении, где — неизвестно, окружённый людьми, которых его мать избрала для этой цели.

---

<sup>1</sup> Евангелие от Матфея, 6:28-29.

<sup>2</sup> Уильям Шекспир, сонет 102 (в переводе — перефразировка).

## ГЛАВА IV

На следующий день, направляясь в Виндзорский замок, лорд Раймонд заехал в коттедж Пердиты. Румянец, заливший щёки сестры, и блеск её глаз выдали мне её тайну. Сам он держался безупречно; приветствовал нас обоих с учтивостью и сразу же, казалось, проникся нашими чувствами, стал своим. Я изучал его лицо, которое менялось, когда он говорил, и было прекрасно в каждой перемене. Обычно взгляд его оставался мягким, хотя порой он умел делать его даже свирепым; цвет лица был бледен, и каждая черта дышала своенравием; улыбка приятна, хотя губы его слишком часто кривило презрение — губы, которые в глазах женщин были самым престолом красоты и любви. Голос его, обычно нежный, иногда поражал резкой, диссонирующей нотой, которая показывала, что его обычная мягкость — скорее дело выучки, чем природы. Так, полный противоречий, непреклонный, но надменный, нежный, но свирепый, ласковый и снова небрежный, он каким-то странным искусством легко находил путь к восхищению и любви женщин; то лаская, то тираня их по настроению, но в каждой перемене оставаясь деспотом.

В этот день Раймонд явно хотел казаться любезным. Остроумие, весёлость и меткая наблюдательность смешивались в его разговоре, и каждое его слово было подобно вспышке света. Он скоро победил мою скрытую неприязнь; я старался следить за ним и Пердитой и помнить всё, что слышал против него. Но всё казалось таким искренним, всё было так обворожительно, что я забыл всё, кроме удовольствия, которое доставляло мне его общество. Под предлогом посвятить меня в картину английской политики и общества, частью которого мне предстояло стать, он рассказал множество анекдотов и набросал немало характеров; его речь, богатая и разнообразная, лилась свободно, наполняя все мои чувства наслаждением. Но одно мешало ему быть до конца победоносным. Он упомянул Адриана и говорил о нём с тем пренебрежением, которое люди света всегда оказывают энтузиазму. Он заметил, что тучи сгущаются, и попытался их развеять; но сила моих чувств не позволяла мне так легко пройти мимо этой священной темы. Поэтому я сказал с расстановкой:

— Позвольте мне заметить, что я глубоко предан графу Виндзорскому; он мой лучший друг и благодетель. Я преклоняюсь перед его добротой, разделяю его мнения и горько оплакиваю его нынешнюю, и, я верю, временную болезнь. Эта болезнь, из-за своей особенности, делает для меня невыносимо мучительным слышать, как о нём говорят иначе, чем с уважением и любовью.

Раймонд ответил; но в его ответе не было ничего примирительного. Я видел, что в душе он презирает тех, кто предан кому-либо, кроме мирских кумиров.

— Каждый человек, — сказал он, — грезит о чём-то: о любви, о чести, об удовольствиях; вы грезите о дружбе и посвящаете себя безумцу. Что ж, если это ваше призвание, вы, несомненно, правы, следуя ему.

Какая-то мысль, казалось, уязвила его, и судорога боли, на мгновение исказившая его лицо, сдержала моё негодование.

— Счастливы мечтатели, — продолжал он, — если только их не пробуждают! О, если бы я мог мечтать! но «широкий и яркий день» — вот стихия, в которой я живу; ослепительный блеск реальности переворачивает для меня всё. Даже призрак дружбы исчез, и любовь... — Он оборвал себя; и я не мог угадать, было ли презрение, искривившее его губы, направлено против страсти или против него самого за то, что он её раб.

Этот разговор может служить образцом моего общения с лордом Раймондом. Я стал с ним близок, и каждый день давал мне повод всё больше восхищаться его могучими и разносторонними талантами, которые вместе с его красноречием, изящным и остроумным, и его огромным богатством делали его самым страшным, любимым и ненавидимым человеком в Англии.

Моё происхождение, внушавшее интерес, если не уважение, моя прежняя связь с Адрианом, благосклонность посла, чьим секретарём я был, и теперь моя близость с лордом Раймондом открыли мне лёгкий доступ в светские и политические круги Англии. По моей неопытности, сначала мне казалось, что мы накануне гражданской войны; каждая партия была яростной, ожесточённой и непреклонной. Парламент разделился на три фракции: аристократов, демократов и роялистов. После того как Адриан объявил о своей приверженности республиканскому правлению, последняя партия почти исчезла, лишившись вождей и руководства; но когда лорд Раймонд выступил вперёд как её лидер, она возродилась с удвоенной силой. Одни были роялистами по предрассудку и старинной привязанности, другие — умеренными, которые одинаково боялись и капризной тирании народной партии, и непреклонного деспотизма аристократов. Более трети членов выстроились под знамёна Раймонда, и их число постоянно росло. Аристократы строили свои надежды на своём богатстве и влиянии; реформаторы — на силе самой нации; прения были ожесточёнными, речи — ещё более ожесточёнными. Перебрасывались оскорбительными эпитетами, угрожали сопротивлением вплоть до смерти; сборища черни нарушали порядок в стране; иначе как войной, чем всё это могло кончиться? Но когда разрушительное пламя уже готово было вспыхнуть, я видел, как оно отступало; успокаиваемое отсутствием военных действий, отвращением каждого к какому-либо насилию, кроме словесного, и сердечной учтивостью — и даже дружбой — враждебных лидеров, когда они встречались в частном обществе. Под влиянием тысячи побуждений я был вынужден внимательно следить за ходом событий и с тревогой наблюдать за каждым поворотом.

Я не мог не заметить, что Пердита любит Раймонда; мне казалось также, что он относится к прекрасной дочери Верни с восхищением и нежностью. И всё же я знал, что он с жадным нетерпением торопит свою женитьбу на предполагаемой наследнице графства Виндзорского, предвкушая выгоды, которые это сулило. Все друзья бывшей королевы были его друзьями; не проходило недели, чтобы он не проводил с ней совещаний в Виндзоре.

Я никогда не видел сестру Адриана. Я слышал, что она была прелестна, любезна и обворожительна. Зачем мне было видеть её? Бывают времена, когда у нас возникает смутное предчувствие перемен — к лучшему или к худшему, — которые должно принести некое событие; и, будет ли это к лучшему или к худшему, мы боимся перемены и избегаем события. По этой причине я избегал этой высокородной девицы. Для меня она была всем и ничем; одно лишь упоминание её имени другим заставляло меня вздрагивать и трепетать; бесконечные толки о её союзе с лордом Раймондом были для меня подлинной мукой. Мне казалось, что, раз Адриан отстранён от деятельной жизни, а эта прекрасная Идрис, вероятно, жертва честолюбивых замыслов своей матери, я должен выступить вперёд, чтобы защитить её от недолжного влияния, уберечь от несчастья и обеспечить ей свободу выбора — право каждого человека. Но как мне было это сделать? Она сама, вероятно, презрела бы моё вмешательство. Раз так, я должен быть для неё предметом безразличия или презрения; лучше, гораздо лучше избегать её и не подвергать себя перед нею и перед насмешливым светом риску разыгрывать безумную игру влюблённого, глупого Икара.

Однажды, несколько месяцев спустя после моего возвращения в Англию, я покинул Лондон, чтобы навестить сестру. Её общество было моим главным утешением и наслаждением; и мой дух всегда поднимался при ожидании встречи с ней. Её разговор был полон метких замечаний и проницательности; в её прелестной беседке, благоухающей сладчайшими цветами, украшенной великолепными гипсами, античными вазами и копиями лучших картин Рафаэля, Корреджо и Клода, написанными ею самой, я воображал себя в волшебном убежище, не затронутым и недостижимым для шумных распрей политиков и пустых занятий моды. На этот раз сестра была не одна; и я не мог не узнать её спутницу: это была Идрис, доселе не виданный предмет моего безумного обожания.

В каких достойных словах изумления и восторга, в каком изысканном выражении и мягком течении речи могу я представить самую прекрасную, мудрую и лучшую? Как в этом скудном наборе слов передать ореол славы, окружавший её, те тысячи граций, что неустанно служили ей? Первое, что поражало вас при взгляде на это очаровательное лицо, была его совершенная доброта и откровенность; на челе её сидела искренность, в глазах — простота, в улыбке — небесная благодать. Её высокая стройная фигура грациозно изгибалась, как тополь под западным ветром, и походка её, божественная, была подобна походке крылатого ангела, только что сошедшего с высокого небесного помоста; жемчужная белизна её кожи была окрашена чистым румянцем; голос её напоминал низкое, сдержанное звучание флейты. Возможно, легче всего описать её через контраст. Я уже описал совершенства моей сестры; и всё же она была совершенно не похожа на Идрис. Пердита, даже там, где она любила, была сдержанна и робка; Идрис была откровенна и доверчива. Одна уходила в одиночество, чтобы оградить себя от разочарований и обид; другая выходила при свете дня, веря, что никто не причинит ей зла. Вордсворт сравнил любимую женщину с двумя прекрасными предметами природы; но его строки всегда казались мне скорее контрастом, чем сходством:

Фиалка у замшелого камня,  
Полускрытая от взгляда,  
Прекрасная, как звезда, когда одна  
Сияет в небе.

Такой фиалкой была милая Пердита, трепещущая, боящаяся довериться самому воздуху, прячущаяся от взглядов, но выдаваемая своими достоинствами и вознаграждающая тысячью прелестей тех, кто искал её на её одинокой тропе. Идрис была как звезда, сияющая одиноким блеском в тусклом венце благоуханного вечера; готовая просвещать и радовать подвластный ей мир, сама защищённая от всякой скверны невообразимой отдалённостью от всего, что не было подобно ей самой, сродни небесам.

Я застал это видение красоты в беседке Пердиты, в оживлённой беседе с её обитательницей. Когда сестра увидела меня, она встала и, взяв меня за руку, сказала:

— Он здесь, как мы и хотели; это Лайонел, мой брат.

Идрис тоже встала и устремила на меня свои небесно-голубые глаза и с особенной грацией произнесла:

— Вам вряд ли нужно представление; у нас есть портрет, высоко ценимый моим отцом, который сразу называет ваше имя. Верни, вы признаете эту связь, и как друг моего брата, я чувствую, что могу вам доверять.

Затем, с влажными от слёз ресницами и дрожащим голосом, она продолжала:

— Дорогие друзья, не удивляйтесь, что теперь, впервые посетив вас, я прошу вашей помощи и вверяю вам мои желания и страхи. Только вам я решаюсь говорить; я слышала, как беспристрастные люди хвалили вас; вы друзья моего брата, значит, вы должны быть и моими друзьями. Что я могу сказать? если вы откажетесь помочь мне, я действительно погибла!

Она подняла глаза, пока изумление удерживало её слушателей в безмолвии; затем, словно увлечённая своими чувствами, воскликнула:

— Мой брат! любимый, злополучный Адриан! Как говорить о твоих несчастьях? Вы, вероятно, оба слышали ходячую молву; возможно, верите клевете; но он не безумен! Если бы ангел у подножия престола Божьего утверждал это, никогда, никогда я не поверила бы. Его обидели, предали, заточили — спасите его! Верни, вы должны сделать это; разыщите его, где бы он ни был заточён на этом острове; найдите его, вызволите из рук его гонителей, верните его самому себе, мне — на всей земле у меня нет никого, кроме него, кого я могла бы любить!

Её страстная мольба, так сладко и проникновенно выраженная, наполнила меня изумлением и сочувствием; и, когда она добавила пронзительным голосом и взглядом:

— Согласны ли вы предпринять это дело?

— Клянусь, — ответил я с силой и правдой, — посвятить себя, в жизни и смерти, восстановлению и благополучию Адриана.

Затем мы стали обсуждать план, которого мне следует держаться, и рассуждать о вероятных способах обнаружить его местопребывание. Пока мы вели этот серьёзный разговор, вошёл, не доложившись, лорд Раймонд: я видел, как Пердита задрожала и смертельно побледнела, а щёки Идрис залились чистейшим румянцем. Он, должно быть, был удивлён нашим собранием, я полагал, даже встревожен им; но ничего подобного не проявилось; он приветствовал моих спутниц и обратился ко мне с сердечным приветствием. Идрис на мгновение заколебалась, а затем с чрезвычайной нежностью сказала:

— Лорд Раймонд, я полагаюсь на вашу доброту и честь.

Надменно улыбнувшись, он склонил голову и ответил с расстановкой:

— Вы и вправду полагаетесь на меня, леди Идрис?

Она попыталась прочесть его мысль и затем ответила с достоинством:

— Как вам будет угодно. Безусловно, лучше всего не компрометировать себя никакой скрытностью.

— Простите меня, — ответил он, — если я оскорбил вас. Доверяете вы мне или нет, положитесь на то, что я сделаю всё возможное, чтобы исполнить ваши желания, каковы бы они ни были.

Идрис улыбнулась в знак благодарности и поднялась, чтобы уйти. Лорд Раймонд попросил разрешения сопровождать её до Виндзорского замка, на что она согласилась, и они вместе покинули коттедж. Мы с сестрой остались — точно двое глупцов, вообразивших, что нашли сокровище, пока не оказалось, что блеск был обманным; две глупые, несчастные мухи, игравшие в солнечных лучах и попавшие в паутину. Я прислонился к оконной раме и смотрел на этих двух великолепных созданий, пока они не скрылись в лесных прогалинах; а затем обернулся. Пердита не шевелилась; она сидела, устремив глаза в землю, бледная, с побелевшими губами, неподвижная, словно окаменевшая, каждая черта её была отмечена горем. Я почти испугался и хотел взять её за руку; но она, вздрогнув, отдернула её и попыталась взять себя в руки. Я умолял её заговорить со мной.

— Не сейчас, — ответила она. — И ты не говори со мной, мой дорогой Лайонел; ты ничего не можешь сказать, потому что ничего не знаешь. Я увижу тебя завтра; а пока прощай!

Она поднялась и вышла из комнаты; но, остановившись в дверях и опершись о косяк, словно мысли отняли у неё способность держаться на ногах, сказала:

— Лорд Раймонд, вероятно, вернётся. Передай ему, что сегодня он должен меня извинить — я нездорова. Я увижу его завтра, если он захочет, и тебя тоже. Тебе лучше вернуться с ним в Лондон; там ты сможешь навести справки, как мы условились, о графе Виндзорском, и завтра снова навестить меня, прежде чем отправишься в путь. До тех пор — прощай.

Она говорила запинаясь и закончила тяжёлым вздохом. Я согласился с её просьбой; и она оставила меня. Я чувствовал себя так, словно из упорядоченного мира я погрузился в хаос — тёмный, противоречивый, непостижимый. То, что Раймонд должен жениться на Идрис, было более невыносимо, чем когда-либо; однако моя страсть, хотя и была велика с самого рождения, была слишком странной, дикой и несбыточной, чтобы я сразу почувствовал то отчаяние, которое я видел в Пердите. Как мне действовать? Она не доверилась мне; я не мог потребовать объяснений у Раймонда, не рискуя выдать то, что, возможно, было её самым сокровенным секретом. Я должен был узнать правду от неё на следующий день — а пока... Но пока я предавался этим мыслям, лорд Раймонд вернулся. Он спросил о моей сестре; и я передал её поручение. Подумав мгновение, он спросил меня, собираюсь ли я вернуться в Лондон, и не соглашусь ли поехать с ним; я согласился. Он был погружён в свои мысли и оставался молчалив на протяжении большей части нашей поездки; наконец он сказал:

— Я должен извиниться за свою рассеянность; дело в том, что сегодня вечером вносится предложение Райленда, и я обдумываю свой ответ.

Райленд был лидером народной партии, человеком с крепкой головой и красноречивым по-своему; он получил разрешение внести законопроект, объявляющий изменой попытку изменить нынешнее состояние английского правительства и законы республики. Это нападение было направлено против Раймонда и его махинаций по восстановлению монархии.

Раймонд спросил меня, не соглашусь ли я сопровождать его вечером в Палату. Я вспомнил о моих поисках сведений об Адриане и, зная, что у меня будет мало времени, извинился.

— Ну, — сказал мой спутник, — я могу избавить вас от вашего нынешнего затруднения. Вы собираетесь наводить справки о графе Виндзорском. Я могу ответить на них сразу же: он находится в поместье герцога Атола в Данкелде. Сначала его возили с места на место; наконец он добрался до этого уединённого живописного уголка и отказался его покидать, и мы договорились с герцогом о его пребывании там.

Меня задела небрежность его тона, и я ответил холодно:

— Я обязан вам за сведения и воспользуюсь ими.

— Воспользуетесь, Верни, — сказал он, — и если вы останетесь при том же мнении, я облегчу ваши планы. Но прежде будьте свидетелем, умоляю вас, исхода сегодняшнего состязания и того торжества, которое я собираюсь одержать, если можно так выразиться, хотя, боюсь, победа для меня обернётся поражением. Что я могу сделать? Мои дражайшие надежды, кажется, близки к исполнению. Бывшая королева отдаёт мне Идрис; Адриан совершенно неспособен наследовать графство, а это графство в моих руках становится королевством. Клянусь царствующим Богом, это так; жалкое графство Виндзорское больше не удовлетворит того, кто унаследует права, которые навечно должны принадлежать тому, кто ими обладает. Графиня никогда не может забыть, что она была королевой, и она не желает оставлять своим детям урезанное наследство; её власть и мой ум отстроят трон, и мою голову увенчает королевская корона. Я могу это сделать — я могу жениться на Идрис.

Он внезапно остановился, лицо его потемнело, и выражение его менялось снова и снова под влиянием внутренней страсти. Я спросил:

— Любит ли вас леди Идрис?

— Какой вопрос, — ответил он со смехом. — Конечно, она будет любить, как и я её, когда мы поженимся.

— Вы начинаете поздно, — сказал я иронически. — Брак обычно считается могилой любви, а не её колыбелью. Так вы собираетесь любить её, но ещё не любите?

— Не допрашивайте меня, Лайонел; я исполню свой долг перед ней, будьте уверены. Любовь! Я должен ожесточить против неё своё сердце, изгнать её из его крепкой твердыни, забарикадироваться от неё: пусть иссякнут все нежные чувства, пусть умрут все страстные мысли, связанные с ней, — то есть та любовь, которая правит мной, а не та, которой я правлю. Идрис — нежная, милая, кроткая девушка; невозможно не испытывать к ней привязанности, и я испытываю самую искреннюю. Но не говорите мне о любви — любовь, тиран и укротитель тиранов; любовь, до сих пор моя победительница, теперь моя раба; голодный огонь, неукротимый зверь, змея с клыками — нет, нет, я не хочу иметь с ней ничего общего. Скажи мне, Лайонел, согласен ли ты, чтобы я женился на этой молодой леди?

Он устремил на меня свои пронизательные глаза, и моё сердце неудержимо забилося в груди. Я ответил спокойным голосом — но как далеко от спокойствия была мысль, скрытая моими тихими словами:

— Никогда! Я никогда не могу согласиться, чтобы леди Идрис была соединена с тем, кто её не любит.

— Потому что вы сами любите её.

— Ваша светлость могли бы пощадить эту насмешку; я не люблю, не смею любить её.

— По крайней мере, — продолжал он надменно, — она не любит вас. Я не женился бы на царствующей государыне, если бы не был уверен, что её сердце свободно. Но, о, Лайонел! королевство — это могучее слово, и мягко звучат титулы королевского достоинства. Разве могущественнейшие люди древности не были царями? Александр был царём; Соломон, мудрейший из людей, был царём; Наполеон был царём; Цезарь умер, пытаясь стать им, и Кромвель, пуританин и цареубийца, стремился к королевскому достоинству. Отец Адриана уступил уже сломанный скипетр Англии; но я подниму упавшее знамя, соединю его разрозненные части и вознесу его над всеми цветами полевыми.

— Вам не нужно удивляться, что я так открыто говорю о местопребывании Адриана. Не думайте, что я настолько порочен или глуп, чтобы основывать мою предполагаемую власть на обмане, да ещё таком легко обнаруживаемом, как истинность или ложность безумия графа. Я только что от него. Прежде чем я решился на брак с Идрис, я решил снова увидеть его самого и судить о вероятности его выздоровления. — Он безнадежно безумен.

Я перевёл дух с трудом.

— Я не стану подробно рассказывать вам печальные подробности, — продолжал Раймонд. — Вы увидите его и сами судите; хотя я опасаясь, что этот визит, бесполезный для него, будет для вас невыносимо мучителен. Он тяготит мой дух с тех пор. Прекрасный и нежный, каким он остаётся даже в безумии, я не поклоняюсь ему, как вы, но я отдал бы все мои надежды на корону и правую руку в придачу, чтобы увидеть его возвращённым самому себе.

В его голосе слышалось глубочайшее сострадание.

— О, ты, непостижимое создание, — воскликнул я, — куда приведут тебя твои поступки в этом лабиринте, в котором ты, кажется, заблудился?

— Куда же? К короне, к золотой, усыпанной драгоценностями короне, надеюсь; и всё же я не смею доверять, и хотя я грежу о короне и просыпаюсь ради неё, какой-то демон то и дело нашептывает мне, что я ищущего всего лишь дурацкий колпак, и что будь я мудр, я попрал бы его ногами и взял бы взамен то, что стоит всех корон Востока и всех президентств Запада.

— А что же это?

— Если я сделаю это своим выбором, тогда вы узнаете; пока я не смею говорить, даже думать об этом.

Снова он замолчал и после паузы повернулся ко мне со смехом. Когда презрение не вдохновляло его веселья, когда это была искренняя радость, рисовавшая его черты радостным выражением, его красота становилась сверхъестественной, божественной.

— Верни, — сказал он, — моим первым актом, когда я стану королём Англии, будет объединение с греками, взятие Константинополя и покорение всей Азии. Я намереваюсь быть воином, завоевателем; имя Наполеона померкнет перед моим; и энтузиасты, вместо того чтобы посещать его скалистую могилу и превозносить заслуги павшего, будут обожать моё величие и превозносить мои славные деяния.

Я слушал Раймонда с напряжённым интересом. Мог ли я не быть весь внимание перед тем, кто, казалось, в своём воображении владел всем миром и только сникал, когда пытался править собой. От его слова и воли зависело моё собственное счастье — судьба всех, кто был мне дорог. Я пытался угадать скрытый смысл его слов. Имя Пердиты не было упомянуто; однако я не сомневался, что именно любовь к ней вызывала его колебания. И кто был так достоин любви, как моя благородная сестра? Кто больше заслуживал руки этого самовознесшегося короля, чем та, чей взгляд был подобен взгляду царицы народов? кто любил его, как он любил её, несмотря на то, что разочарование подавляло её страсть, а честолюбие вело с ней жестокую борьбу.

Вечером мы вместе отправились в Палату. Раймонд, зная, что его планы и перспективы должны были обсуждаться и решаться во время ожидаемых прений, был весел и беззаботен. Гул, подобный гулу десяти тысяч пчелиных ульев, оглушил нас, когда мы вошли в курительную

комнату. Толпы политиков с озабоченными лицами и громкими или низкими голосами собрались вокруг. Аристократическая партия, состоящая из самых богатых и влиятельных людей Англии, казалась менее взволнованной, чем другие, ибо вопрос должен был обсуждаться без их вмешательства. У камина находились Райленд и его сторонники. Райленд был человеком тёмного происхождения и огромного богатства, унаследованного от отца-фабриканта. В молодости он был свидетелем отречения короля и слияния двух палат — лордов и общин; он сочувствовал этим народным захватам, и делом его жизни было их укрепление и увеличение. С тех пор влияние землевладельцев возросло; и сначала Райленд был не прочь наблюдать за махинациями лорда Раймонда, которые отвлекли многих из его противников. Но теперь дело зашло слишком далеко. Беднейшее дворянство приветствовало возвращение монархии как событие, которое вернёт им их утраченную власть и права. Полуугасший дух монархии пробудился в умах людей; и они — готовые рабы, мнимые подданные — были готовы склонить шею под ярмо. Оставались ещё некоторые прямые и мужественные души, столпы государства; но слово «республика» стало приевшимся для невежественного уха; и многие — время покажет, было ли это большинство — томились по мишуре и блеску королевской власти. Райленд был побуждён к сопротивлению; он утверждал, что одно лишь его снисхождение позволило этой партии разрастись; но время снисхождения прошло, и одним движением он смел бы паутину, ослеплявшую его соотечественников.

Когда Раймонд вошёл в курительную комнату, его появление было встречено его друзьями почти что криками. Они собрались вокруг него, пересчитали свои силы и подробно объяснили причины, по которым к ним должны присоединиться те или иные члены, ещё не объявившие себя. После того как были закончены некоторые незначительные дела Палаты, лидеры заняли свои места в зале; шум голосов продолжался, пока Райленд не поднялся, чтобы говорить, и тогда стало слышно даже самое тихое замечание. Все взоры были устремлены на него, когда он стоял — массивный, с звучным голосом и с манерой, которая, хоть и не была изящной, была впечатляющей. Я перевёл взгляд с его заострённого железного лица на Раймонда, чьё лицо, скрытое улыбкой, не выдавало его тревоги; однако его губы слегка дрожали, и рука его с судорожной силой сжимала скамью, на которой он сидел, так что мускулы вздувались.

Райленд начал с похвалы нынешнему состоянию Британской империи. Он напомнил о прошлых годах; о жалких расправах, которые во времена наших отцов едва не дошли до гражданской войны, об отречении покойного короля и об основании республики. Он описал эту республику; показал, как она даёт каждому человеку в государстве возможность возвыситься до значения и даже до временной власти. Он сравнил королевский и республиканский дух; показал, как один стремится поработить умы людей, в то время как все институты другого служат тому, чтобы возвысить даже самого ничтожного из нас до чего-то великого и доброго. Он показал, как Англия стала могущественной, а её жители — доблестными и мудрыми благодаря той свободе, которой они пользовались. Когда он говорил, каждое сердце переполняла гордость, и лица загорались восторгом при воспоминании о том, что каждый там был англичанином и что каждый поддерживал и вносил свой вклад в то счастливое состояние, которое теперь прославлялось. Пыл Райленда возрастал — его глаза загорались — его голос обретал тон страсти. Был один человек, продолжал он, который хотел изменить всё это и вернуть нас ко дням нашего бессилия и распрей: — один человек, который осмелился бы присвоить честь, принадлежащую всем, кто называет Англию своей родиной, и поставить своё имя и титул выше имени и титула своей страны. В этот момент я увидел, что Раймонд переменялся в лице; он отвёл глаза от оратора и устремил их в землю; слушатели переводили взгляд с одного на другого; но тем временем голос оратора наполнял их уши — гром его обличений овладевал их чувствами. Сама смелость его языка придавала ему вес; каждый знал, что он говорит правду — правду, известную, но не признанную. Он сорвал с реальности маску, которой она была облачена; и цели Раймонда, которые прежде крались вокруг, опутывая исподволь, теперь сто-

яли, как загнанный олень — даже в отчаянной обороне, как могли заметить все, кто следил за неукротимыми переменами его лица. Райленд закончил тем, что внёс предложение объявить изменой любую попытку восстановить королевскую власть, а того, кто попытается изменить существующую форму правления, — предателем. Возгласы и громкие рукоплескания сопровождали конец его речи.

После того как его предложение было поддержано, лорд Раймонд поднялся, — лицо его было любезным, голос мягко мелодичным, манеры успокаивающими; его грация и сладость были подобны нежному дыханию флейты после громкого, подобного органу, голоса его противника. Он поднялся, сказал он, чтобы высказаться в пользу предложения достопочтенного члена, с одним небольшим добавлением. Он был готов вернуться к старым временам и прославить распри наших отцов и отречение монарха. Благородно и великодушно, сказал он, последний знаменитый король Англии принёс себя в жертву очевидному благу своей страны и лишил себя власти, которая могла поддерживаться только кровью его подданных — этих подданных, уже не именуемых так, его друзей и равных, которые в благодарность даровали ему и его роду навечно некоторые милости и отличия. Им было назначено обширное поместье, и они заняли первое место среди пэров Великобритании. Однако можно было предположить, что они не забыли своего древнего наследия; и было бы несправедливо, если бы его наследник пострадал наравне с любым другим претендентом, если бы он попытался вернуть то, что по древнему праву и наследству принадлежало ему. Он не говорил, что одобрил бы такую попытку; но он говорил, что такая попытка была бы простительной; и если претендент не зайдёт так далеко, чтобы объявить войну и водрузить знамя в королевстве, то к его проступку следовало бы относиться снисходительно. В своей поправке он предложил сделать в законопроекте исключение в пользу любого лица, претендующего на верховную власть по праву графов Виндзорских. И Раймонд не закончил, не нарисовав яркими и блестящими красками великолепие королевской власти в противовес торговому духу республиканизма. Он утверждал, что каждый человек при английской монархии тогда, как и сейчас, способен достичь высокого звания и власти — с одним лишь исключением, а именно верховной власти; а это звание более высокое и благородное, чем то, которое может дать торговая, трусливая республика. И что касается этого одного исключения, к чему оно сводилось? Природа богатства и влияния сама по себе ограничивала круг кандидатов несколькими самыми богатыми; и было весьма опасаться, что недовольство и распри, порождаемые этой борьбой, длящейся уже три года, перевесят на весах беспристрастного судьи все её преимущества. Я плохо могу передать поток красноречия и изящные обороты речи, остроумие и лёгкую насмешку, придававшие силу и вес его словам. Его манеры, сначала робкие, стали твёрдыми; его изменчивое лицо озарилось сверхъестественным блеском; его голос, разнообразный, как музыка, был подобен ей в своей чарующей силе.

Бесполезно было бы записывать прения, следовавшие за этой речью. Произносились партийные речи, которые облекали вопрос в ханжеские выражения и скрывали его простой смысл в паутине слов. Предложение было отклонено; Райленд удалился в ярости и отчаянии; а Раймонд, весёлый и ликующий, удалился грезить о своём будущем королевстве.

## ГЛАВА IV (продолжение)

Существует ли на свете любовь с первого взгляда? И если да, то чем она отличается от любви, рождённой долгим наблюдением и медленным созреванием? Быть может, она не столь долговечна, но куда длится — столь же сильна и всепоглощающа. Мы блуждаем по бездорожным лабиринтам света, лишённые радости, пока не обретаем эту путеводную нить, что ведёт нас к раю. Наша природа подобна незажённому факелу — она дремлет в бесформенной пустоте, пока огонь не коснётся её; этот огонь — жизнь жизни, свет для луны и слава для солнца. В глубоком источнике моего сердца забились пульсы; вокруг меня, надо мной, подо мной — цепкая Память, как плащ, окутала меня. Ни в один из грядущих мгновений я не чувствовал себя так, как в те минувшие дни. Дух Идрис витал в воздухе, которым я дышал; её глаза были вечно устремлены на мои; её памятная улыбка ослепляла меня и заставляла идти как человека, не во тьме и пустоте, а в новом и ярком свете — слишком новом, слишком ослепительном для моих человеческих чувств. На каждом листе, на каждой малой частице вселенной был выгравирован талисман моего существования — ОНА ЖИВЁТ! ОНА ЕСТЬ! У меня ещё не было времени проанализировать моё чувство, призвать себя к ответу и обуздать неукротимую страсть; всё было одной мыслью, одним чувством, одним знанием — это была моя жизнь!

Но жребий был брошен — Раймонд женится на Идрис. Весёлые свадебные колокола звенели в моих ушах; я слышал народное ликование, сопровождавшее этот союз; честолюбивый вельможа взмыл стремительным орлиным полётом от низкой земли к королевскому превосходству — и к любви Идрис. Но нет! Она не любила его; она назвала меня своим другом; она улыбнулась мне; она вверила мне свою самую заветную надежду — благополучие Адриана. Эта мысль растопила мою стынущую кровь, и снова поток жизни и любви стремительно хлынул вперёд, чтобы вновь отхлынуть, когда мои лихорадочные мысли менялись.

Прения закончились в три часа утра. Душа моя была в смятении; я стремительно бродил по улицам. Поистине, я был безумен в ту ночь — любовь, которую я назвал гигантом с рождения, боролась с отчаянием! Моё сердце, поле битвы, было уязвлено железной пятой одного и орошено хлынувшими слезами другого. Настал день, ненавистный мне; я уединился в своей комнате, бросился на диван, заснул — был ли это сон? — ибо мысль всё ещё была жива, любовь и отчаяние всё ещё боролись, и я корчился от невыносимой боли.

Я проснулся полушеломлённый; я чувствовал тяжёлый гнёт, но не знал отчего; я вошёл в советную палату моего мозга и допросил собравшихся там служителей мысли; слишком скоро я вспомнил всё; слишком скоро мои члены задрожали под мучительной властью; скоро, слишком скоро я познал себя рабом!

Внезапно, не дожившись, в мою комнату вошёл лорд Раймонд. Он вошёл весело, напевая тирольскую песню о свободе; удостоил меня милостивым кивком и бросился на диван напротив копии бюста Аполлона Бельведерского. После одного-двух ничего не значащих замечаний, на которые я угрюмо отвечал, он вдруг воскликнул, глядя на бюст:

— Меня называют похожим на этого победителя! Недурная мысль; голова послужит для моей новой монеты и будет добрым знамением для всех верноподданных моего будущего успеха.

Он сказал это своим самым весёлым и в то же время благожелательным тоном и улыбнулся, не презрительно, а игриво насмехаясь над самим собой. Затем лицо его внезапно потемнело, и тем резким, пронзительным голосом, который был ему свойственен, он воскликнул:

— Я выиграл славное сражение прошлой ночью; более высокой победы не видели поля Греции. Теперь я первый человек в государстве, тема каждой баллады и предмет невнятных молитв старух. О чём вы размышляете? Вы, который воображает, что может читать челове-

скую душу, как родное озеро читает каждую расселину и складку окружающих его холмов, — скажите, что вы думаете обо мне; будущий король, ангел или дьявол?

Этот иронический тон был невыносим для моего переполненного, бурлящего сердца; я был уязвлён его наглостью и ответил с горечью:

— Есть дух, ни ангел, ни дьявол, а осуждённый на лимб[1].

Я видел, как его щёки побледнели, а губы побелели и задрожали; его гнев лишь разжигал мой, и я отвечал решительным взглядом на его глаза, которые уставились на меня; внезапно они отвелись, опустились; мне показалось, слеза смочила тёмные ресницы; я смягчился и с непроизвольным чувством добавил:

— Не то чтобы вы были таковым, мой дорогой лорд.

Я замолк, даже поражённый тем волнением, которое он выказал.

— Да, — сказал он наконец, вставая и закусывая губу, стараясь обуздать свою страсть. — Таков я! Вы не знаете меня, Верни; ни вы, ни наши вчерашние слушатели, ни вся Англия ничего не знает обо мне. Я стою здесь, казалось бы, избранный король; эта рука вот-вот сожмёт скипетр; эти виски чувствуют в каждом нерве грядущую диадему. Я, кажется, имею силу, власть, победу; стою, как столп, поддерживающий купол; и я — тростинка! Во мне есть честолюбие, и оно достигает цели; мои ночные грёзы сбываются, мои дневные надежды исполняются; королевство ждёт моего принятия, мои враги повержены. Но здесь, — и он с силой ударил себя в грудь, — здесь мятежник, здесь камень преткновения; это властвующее сердце, которое я могу обескровить до капли; но пока в нём остаётся хоть одно трепещущее биение, я его раб.

Он говорил прерывающимся голосом, затем склонил голову и, закрыв лицо руками, заплакал. Я всё ещё мучился от собственного разочарования; однако эта сцена угнетала меня почти до ужаса, и я не мог прервать его приступа страсти. Он наконец утих; и, бросившись на диван, остался безмолвен и неподвижен, если не считать того, что его изменчивые черты выдавали сильную внутреннюю борьбу. Наконец он встал и сказал своим обычным тоном:

— Время уходит, Верни, мне пора. Не дай мне забыть мою главную цель здесь. Не согласитесь ли вы сопровождать меня завтра в Виндзор? Вы не будете обесчещены моим обществом, и поскольку это, вероятно, последняя услуга или неслужба, которую вы можете мне оказать, исполните ли вы мою просьбу?

Он протянул руку почти с застенчивым видом. Я быстро подумал: да, я буду свидетелем последней сцены этой драмы. Кроме того, его вид победил меня, и нежное чувство к нему снова наполнило моё сердце — я сказал ему, чтобы он повелевал мной.

— Ах, повелевать, так повелевать, — сказал он весело, — это как раз мотив сейчас; будьте со мной завтра утром в семь; будьте скрытны и верны; и вы скоро будете шталмейстером.

С этими словами он поспешно удалился, вскочил на коня и жестом, будто подавал мне руку для поцелуя, смеясь, простился со мной. Оставшись один, я с мучительной напряжённостью старался угадать мотив его просьбы и предвидеть события предстоящего дня. Часы проходили незаметно; голова моя болела от мыслей, нервы, казалось, были переполнены до предела — я сжимал пылающий лоб, словно моя горячая рука могла утешить его боль. На следующий день я был точен к назначенному часу и застал лорда Раймонда ожидающим меня. Мы сели в его карету и отправились к Виндзору. Я взял себя в руки и решил не выказывать внешними признаками моего внутреннего волнения.

— Какую ошибку совершил Райленд, — сказал Раймонд, — когда он думал одолеть меня на днях. Он говорил хорошо, очень хорошо; такая речь имела бы большой успех, если бы была обращена ко мне одному, чем к тем дуракам и мошенникам, собравшимся там. Будь я один, я слушал бы его с желанием внять голосу разума, но когда он попытался победить меня на моей собственной территории, моим же оружием, он задел моё самолюбие, и исход был таким, какого все могли ожидать.

Я недоверчиво улыбнулся и ответил:

— Я того же мнения, что и Райленд, и, если позволите, повторю все его аргументы; мы увидим, в какой степени они побудят вас переменить королевский стиль на патриотический.

— Повторение было бы бесполезно, — сказал Раймонд, — поскольку я хорошо помню их, и у меня есть много других, самым собой внушённых, которые говорят с неопровержимой убедительностью.

Он не объяснился, и я никак не прокомментировал его ответ. Наше молчание длилось несколько миль, пока окружающая местность с открытыми полями, тенистыми рощами и парками не представила приятные предметы нашему взору. После некоторых замечаний о пейзаже и поместьях Раймонд сказал:

— Философы называли человека микрокосмом природы и находили в его внутреннем уме отражение всего этого механизма, видимо действующего вокруг нас. Эта теория часто служила мне источником развлечения; и много праздных часов я проводил, упражняя свою изобретательность в поисках сходств. Разве лорд Бэкон не говорит, что «переход от диссонанса к консонансу, создающий великую сладость в музыке, имеет согласие с аффектами, которые восстанавливаются к лучшему после некоторого неудовольствия»? Что такое море, как не прилив страсти, чьи источники — в нашей собственной природе! Наши добродетели — это отмели, которые показывают себя в тихую и малую воду; но поднимись волны и бей ветер, и бедный дьявол, чья надежда была на их прочность, видит, как они уходят из-под него. Моды света, его нужды, воспитание и занятия — это ветры, гонящие наши воли, как облака, в одну сторону; но пусть в виде любви, ненависти или честолюбия разразится гроза, и облака идут вспять, торжественно попирая противный воздух.

— И всё же, — ответил я, — природа всегда являет нашим глазам вид терпеливого страдальца; в то время как в человеке есть деятельное начало, способное управлять судьбой и по крайней мере лавировать против ветра, пока оно так или иначе не победит его.

— В вашем различии больше кажущегося, чем истинного, — сказал мой спутник. — Разве мы сами себя создаём, выбирая свои наклонности и силы? Я, например, вижу себя струнным инструментом с ладами и клавишами, — но у меня нет власти поворачивать колки или настраивать мои мысли на более высокий или низкий тон.

— Другие люди, — заметил я, — возможно, лучшие музыканты.

— Я говорю не о других, а о себе, — ответил Раймонд, — и я такой же хороший пример для подражания, как и любой другой. Я не могу настроить своё сердце на определённый мотив или бегло менять мою волю. Мы рождаемся; мы не выбираем ни родителей, ни положения; нас воспитывают другие или обстоятельства мира, и это воспитание, смешиваясь с нашим врождённым расположением, есть та почва, на которой растут наши желания, страсти и побуждения.

— Много правды в том, что вы говорите, — сказал я, — и всё же ни один человек никогда не действует в соответствии с этой теорией. Кто, делая выбор, говорит: я выбираю так, потому что я вынужден? Напротив, не чувствует ли он внутри себя свободы воли, которая, хотя вы и можете назвать её обманчивой, всё же побуждает его, когда он решает?

— Именно так, — ответил Раймонд, — ещё одно звено неразрывной цепи. Если бы я сейчас совершил поступок, который уничтожил бы мои надежды и сорвал бы королевскую одежду с моих смертных членов, чтобы одеть их в обычные одежды, было бы это, по-вашему, актом свободной воли с моей стороны?

Пока мы так беседовали, я заметил, что мы едем не по обычной дороге к Виндзору, а через Энглфилд-Грин по направлению к Бишопгейт-Хит. Я начал догадываться, что не Идрис была целью нашей поездки, но что меня привезли, чтобы я стал свидетелем сцены, которая должна была решить судьбу Раймонда — и Пердиты. Раймонд, по-видимому, колебался во время нашей поездки, и нерешительность была заметна в каждом его жесте, когда мы вошли в коттедж Пердиты. Я внимательно наблюдал за ним, решив, что если эта нерешительность продолжится, я помогу Пердите побороть себя и научу её презирать колеблющуюся любовь

того, кто балансировал между обладанием короной и ею, чьё превосходство и привязанность превосходили ценность целого королевства.

Мы застали её в её цветущей беседке; она читала газетный отчёт о парламентских дебатах, которые, по-видимому, обрекали её на безнадёжность. Это чувство уныния отражалось в её потухших глазах и безжизненной позе; облако лежало на её красоте, и частые вздохи были знаками её скорби. Это зрелище мгновенно подействовало на Раймонда; его глаза засияли нежностью, а раскаяние придало его манерам искренность и правдивость. Он сел рядом с ней и, взяв у неё газету, сказал:

— Ни слова больше не прочтёт моя милая Пердита об этой распре безумцев и дураков. Я не должен позволять тебе знать о степени моего заблуждения, чтобы ты не презирала меня; хотя, поверь мне, желание предстать перед тобой не побеждённым, а победителем, вдохновляло меня во время той словесной войны.

Пердита взглянула на него, словно поражённая; её выразительное лицо на мгновение засияло нежностью; видеть только его было счастьем. Но горькая мысль быстро омрачила её радость; она опустила глаза в землю, стараясь обуздать приступ слёз, готовых залить её. Раймонд продолжал:

— Я не буду играть с тобой роль, дорогая девушка, или казаться иным, чем я есть, слабым и недостойным, более подходящим для твоего презрения, чем для твоей любви. Но ты любишь меня; я чувствую и знаю, что любишь, и отсюда черпаю мои самые дорогие надежды. Если бы гордость руководила тобой или даже разум, ты вполне могла бы отвергнуть меня. Так и сделай; если твоё высокое сердце, неспособное к моей слабости воли, отказывается склониться перед низостью моего. Отвернись от меня, если хочешь, — если сможешь. Если вся твоя душа не побуждает тебя простить меня — если всё твоё сердце не открывает широко свои двери, чтобы впустить меня в самый свой центр, покинь меня, никогда больше не говори со мной. Я, хотя и согрешил против тебя почти непростительно, тоже горд; в твоём прощении не должно быть оговорок — ни изъянов в даре твоей любви.

Пердита опустила взгляд, смущённая, но довольная. Моё присутствие стесняло её; так что она не смела поднять глаза на встречу взгляду своего возлюбленного или довериться голосу, чтобы заверить его в своей любви; в то время как румянец залил её щёки, и её унылый вид сменился выражением глубокой радости. Раймонд обнял её за талию и продолжал:

— Я не отрицаю, что колебался между тобой и высшей надеждой, которую могут питать смертные; но я больше не колеблюсь. Возьми меня — лепи меня по своей воле, владей моим сердцем и душой на вечность. Если ты откажешься содействовать моему счастью, я покину Англию сегодня ночью и никогда больше не ступлю на её землю. Лайонел, ты слышишь: будь свидетелем за меня; убеди свою сестру простить обиду, которую я ей нанёс; убеди её стать моей.

— Не нужно убеждений, — сказала краснеющая Пердита, — кроме твоих собственных дорогих обещаний и моего готового сердца, которое шепчет мне, что они истинны.

В тот же вечер мы втроем гуляли по лесу, и с той словоохотливостью, которую внушает счастье, они подробно рассказали мне историю своей любви. Приятно было видеть, как надменный Раймонд и сдержанная Пердита, благодаря счастливой любви, превратились в болтливых, игривых детей, оба утративших свою характерную важность в полноте взаимного довольства. Ночь или две назад лорд Раймонд с озабоченным лицом и душой, отягчённой мыслями, напрягал все свои силы, чтобы заставить замолчать или убедить законодателей Англии, что скипетр не слишком тяжёл для его руки, в то время как перед ним носились видения власти, войны и торжества; теперь, резвый, как живой мальчик, играющий под одобрительным взглядом матери, надежды его честолюбия были полны, когда он прижимал маленькую белую ручку Пердиты к своим губам; в то время как она, сияющая от восторга, смотрела на неподвижный пруд, не столько любуясь собой, сколько с упоением впитывая отражение в нём себя и своего возлюбленного, показанных впервые в дорогом единении.

Я побрёл от них. Если восторг разделённой близости был их, я наслаждался восторгом возрождённой надежды. Я смотрел на королевские башни Виндзора. Высока стена и сильна преграда, что отделяют меня от моей Звезды Красоты. Но не непреодолима. Она не будет его. Ещё несколько лет живи в своём родном саду, сладкий цветок, пока я трудом и временем не заслужу право сорвать тебя. Не отчаивайся и мне не веди отчаиваться! Что я должен сделать теперь? Прежде всего я должен найти Адриана и вернуть его ей. Терпение, нежность и неустанная любовь вернут его, если, как говорит Раймонд, он безумен; энергия и мужество освободят его, если он несправедливо заточён.

Когда влюблённые снова присоединились ко мне, мы поужинали вместе в беседке. Поистине, это был ужин фей; ибо хотя воздух был напоён ароматом фруктов и вина, никто из нас не ел и не пил — даже красота ночи осталась незамеченной; их экстаз не мог быть усилен внешними предметами, а я был погружён в грёзы. Около полуночи мы с Раймондом распрощались с моей сестрой, чтобы вернуться в город. Он был весь веселье; обрывки песен слетали с его губ; каждая мысль его ума — каждый предмет вокруг нас сиял под лучами его веселья. Он обвинял меня в меланхолии, в дурном настроении и зависти.

— Не совсем так, — сказал я, — хотя признаюсь, что мои мысли заняты не столь приятно, как ваши. Вы обещали облегчить моё посещение Адриана; я заклинаю вас исполнить обещание. Я не могу здесь медлить; я жажду утешить — возможно, излечить недуг моего первого и лучшего друга. Я немедленно отправлюсь в Данкелд.

— Ночная птица, — ответил Раймонд, — какое затмение наводишь ты на мои светлые мысли, заставляя меня вспоминать это печальное разрушение, которое стоит в душевной пустыне, более непоправимое, чем обломок резной колонны на заросшем сорняками поле. Ты мечтаешь, что можешь восстановить его? Дедал никогда не обвивал Минотавра столь неразрешимой ошибкой, как безумие обвило его заточенный разум. Ни ты, ни какой-либо другой Тесея не сможет пройти по лабиринту, к которому, возможно, какая-нибудь немилостивая Ариадна имеет нить.

— Вы намекаете на Эвадну Заими; но её нет в Англии.

— И будь она здесь, — сказал Раймонд, — я не советовал бы ей видеться с ним. Лучше угаснуть в совершенном бреде, чем быть жертвой методичного безумия дурно направленной любви. Долгая продолжительность его болезни, вероятно, стёрла из его памяти всякое воспоминание о ней; и хорошо бы, чтобы оно никогда больше не запечатлелось. Вы найдёте его в Данкелде; кроткий и послушный, он бродит по холмам и лесу или сидит, слушая у водопада. Вы можете увидеть его — его волосы убраны полевыми цветами; глаза полны невыразимого смысла; голос прерывист; тело истощено до тени. Он срывает цветы и травы, плетёт из них венки, или пускает жёлтые листья и кусочки коры по ручью, радуясь их спасению или плача над их крушением. Одно это воспоминание выбивает меня из колеи. Клянусь небом! первые слёзы, что я пролил с детства, хлынули, обжигая, из моих глаз, когда я увидел его.

Этот последний рассказ был не нужен, чтобы побудить меня посетить его. Я сомневался только, должен ли я попытаться увидеть Идрис снова, прежде чем уеду. Это сомнение разрешилось на следующий день. Рано утром пришёл ко мне Раймонд; прибыло известие, что Адриан опасно болен и что, по-видимому, его слабеющие силы не смогут победить недуг.

— Завтра, — сказал Раймонд, — его мать и сестра отправляются в Шотландию, чтобы увидеть его ещё раз.

— А я еду сегодня, — воскликнул я. — В этот самый час я закажу парусный воздушный шар; я буду там не позднее чем через сорок восемь часов, может быть, раньше, если ветер будет попутным. Прощайте, Раймонд; будьте счастливы, избрав лучшую участь в жизни. Этот поворот судьбы оживляет меня. Я боялся безумия, а не болезни — у меня есть предчувствие, что Адриан не умрёт; возможно, эта болезнь — кризис, и он может выздороветь.

Всё благоприятствовало моему путешествию. Шар поднялся примерно на полмили от земли, и с попутным ветром он мчался по воздуху, его пернатые вёсла рассекали податливую атмосферу, не встречая сопротивления. Несмотря на печальную цель моей поездки, мой дух бодрился возродившейся надеждой, быстрым движением воздушной ладьи и живительным теплом солнечного воздуха. Кормчий едва двигал оперённым рулём, и тонкий механизм крыльев, широко распростёртых, издавал успокаивающее журчание. Равнины и холмы, ручьи и хлебные поля были различимы внизу, в то время как мы беспрепятственно неслись быстро и надёжно, как дикий лебедь в весеннем перелёте. Машина подчинялась малейшему движению руля; и, поскольку ветер дул ровно, на нашем пути не было ни задержек, ни препятствий. Такова была власть человека над стихиями; власть, которую долго искали и лишь недавно обрели; всё же предсказанная в прошлом князем поэтов, чьи стихи я процитировал к великому изумлению моего кормчего, когда рассказал ему, сколько сотен лет назад они были написаны:

О, ум людской, ты много зла выдумать умеешь,  
Ты ищешь странных искусств: кто бы подумал, что умелым трудом  
Тяжёлый человек, словно лёгкая птица, взлетит  
И по пустым небесам проложит себе путь?

Я высадился в Перте; и, хотя сильно устал от долгого пребывания на воздухе в течение многих часов, я не стал отдыхать, а лишь сменил способ передвижения и отправился по земле, а не по воздуху, в Данкелд. Солнце вставало, когда я вошёл в горный проход. После течения веков холм Бирнам снова покрылся молодым лесом, в то время как более старые сосны, посаженные в самом начале девятнадцатого века тогдашним герцогом Атолом, придавали торжественность и красоту этому зрелищу. Восходящее солнце первым делом окрасило верхушки сосен; и мой ум, благодаря моей жизни среди гор глубоко восприимчивый к красотам природы и теперь накануне того, чтобы снова увидеть моего возлюбленного и, возможно, умирающего друга, был странно взволнован видом этих далёких лучей: несомненно, они были знамениями, и как таковые я их и принял, добрыми знамениями для Адриана, от чьей жизни зависело моё счастье.

Бедный друг! Он лежал на одре болезни, щёки его горели лихорадочным румянцем, глаза полузакрыты, дыхание неровное и тяжёлое. Но видеть его в таком состоянии было менее мучительно, чем обнаружить, что тело его живёт механически, а разум поражён. Я поселился у его постели; я не покидал её ни днём, ни ночью. Горькой была задача — видеть, как его душа колеблется между смертью и жизнью: видеть его горячую щёку и знать, что лихорадочный жар пожирает его жизненные силы; слышать его стонущий голос, которому уже не суждено произносить слова любви и мудрости; быть свидетелем бессмысленных движений его членов, которым скоро предстояло быть укутанными в смертный саван. Так в течение трёх дней и ночей представлялась мне развязка, которую судьба предназначила моим трудам, и я стал измождённым и подобным призраку от тревоги и бессонницы. Наконец глаза его слабо открылись, но с выражением возвращающейся жизни; он стал бледным и слабым, но окоченелость черт его смягчилась, и близкое выздоровление уже было заметно. Он узнал меня. Что это была за мука, смешанная с радостью, когда его лицо впервые озарилось светом узнавания — когда он пожал мою руку, теперь более горячую, чем его собственная, и когда он произнёс моё имя! Никаких следов его прежнего безумия не осталось, чтобы омрачить мою радость печалью.

В тот же вечер прибыли его мать и сестра. Графиня Виндзорская от природы была полна энергии и чувства; но очень редко в своей жизни позволяла она сосредоточенным страстям своего сердца проявляться на лице. Тщательно выработанная неподвижность её лица, её медленная, ровная манера и мягкий, но не мелодичный голос были маской, в которой скрывались её пылкость и нетерпение. Она ничуть не походила ни на одного из своих детей; её чёрные искрящиеся глаза, горящие гордостью, были совершенно не похожи на голубой блеск и открытое, благожелательное выражение глаз Адриана или Идрис. В её движениях было нечто вели-

чественное, но в ней не было ни мягкости, ни приветливости. Высокая, тонкая и прямая, лицо её всё ещё было красиво, вороны волосы едва тронуты сединой, лоб высок и прекрасен; если бы не слишком резкие брови, — она невольно поражала и почти пугала. Идрис, казалось, была единственным существом, способным противостоять своей матери, несмотря на чрезвычайную кротость своего характера. Но в ней были бесстрашие и откровенность, которые говорили, что она не посягнёт на чужую свободу, но свою собственную считает священной и неприкосновенной.

Графиня не бросила взгляда доброты на моё измождённое тело, хотя потом холодно поблагодарила меня за мои заботы. Не так Идрис; её первый взгляд был для брата; она взяла его за руку, поцеловала его веки и склонилась над ним с взглядами сострадания и любви. Её глаза блеснули от слёз, когда она поблагодарила меня, и изящество её слов возрастало, а не уменьшалось от того жара, который заставлял её почти запинаться. Мать, казалось, вся обратилась в слух и зрение, и скоро прервала нас; я увидел, что она хочет потихоньку удалить меня, как того, чьи услуги теперь, когда прибыли её родные, уже не нужны её сыну. Я был измучен и болен, решил не уступать своего поста, но сомневался, как мне заявить о своём праве; когда Адриан позвал меня и, сжав мою руку, велел мне не покидать его. Его мать, притворяясь, будто не заметила этого, сразу поняла, что это означало, и, видя, какую власть я имею над ним, уступила мне в этом.

Последующие дни были полны для меня боли; так что я иногда сожалел, что не уступил сразу этой надменной даме, которая следила за каждым моим движением и превращала мою любимую задачу — уход за другом — в тягостную муку. Никогда ещё женщина не казалась столь всецело подчинённой рассудку, как графиня Виндзорская. Её страсти подчинили себе её аппетиты, даже её естественные потребности; она спала мало и почти не ела; она относилась к своему телу лишь как к орудию, здоровье которого необходимо для достижения её целей, но чьи ощущения не составляли части её бытия. Есть нечто устрашающее в том, кто может так победить животную часть нашей природы, если эта победа не является следствием высочайшей добродетели; и не без примеси этого чувства я смотрел на фигуру графини, бодрствующей, когда другие спали, постыющейся, когда я, и без того воздержанный и ещё более ослабленный лихорадкой, был вынужден подкреплять себя пищей. Она решила помешать мне приобрести влияние на своих детей и расстраивала мои планы с жёсткой, тихой, упрямой решимостью, которая казалась сверхчеловеческой. Между нами установилась молчаливая война. Мы вели много решительных сражений, во время которых не было произнесено ни слова, едва ли обменивались взглядами, но в которых каждый был полон решимости не уступить. У графини было преимущество положения; так что я был побеждён, хотя и не сдавался.

Мне стало тяжело на душе. Моё лицо носило отпечаток нездоровья и досады. Адриан и Идрис видели это; они приписывали это моему долгому бодрствованию и тревоге; они убеждали меня отдыхать и беречь себя, в то время как я самым искренним образом уверял их, что моё лучшее лекарство — их добрые пожелания; они и несомненное выздоровление моего друга, теперь с каждым днём всё более очевидное. Бледная роза снова зарделась на его щеке; его лоб и губы утратили пепельную бледность угрожавшей кончины; такова была дорогая награда за моё неустанное внимание — и щедрое небо добавило избыточную награду, когда оно дало мне также благодарность и улыбки Идрис.

Спустя несколько недель мы покинули Данкелд. Идрис и её мать сразу же вернулись в Виндзор, а мы с Адрианом последовали за ними медленными переездами и частыми остановками, вызванными его продолжающейся слабостью. Когда мы пересекали различные графства плодородной Англии, всё вокруг казалось исполненным жизни для моего спутника, который так долго был лишён из-за болезни возможности радоваться погоде и видам. Мы проезжали через людные города и возделанные равнины. Земледельцы собирали свои обильные урожаи, а женщины и дети, занятые лёгкими деревенскими трудами, собирались группами — счаст-

ливые, здоровые люди, одно зрелище которых приносило радость сердцу. Однажды вечером, выйдя из гостиницы, мы побрели по тенистой аллее, затем поднялись по травянистому склону, пока не достигли возвышенности, откуда открывался обширный вид на холмы и долины, извилистые реки, тёмные леса и сияющие деревни. Солнце садилось; и облака, бредущие по необъятным полям неба, словно стадо овец, получили золотой цвет его прощальных лучей; далёкие возвышенности сияли, и вечерний гул, смягчённый расстоянием, достигал нашего слуха. Адриан, чувствовавший, как свежий дух вливается в него от возвращающегося здоровья, в восторге сжал руки и с упоением воскликнул:

— О счастливая земля и счастливые обитатели земли! Великолепный дворец построил для тебя Бог, о человек! И ты достоин своего жилища! Взгляни на зелёный ковёр, расстеленный у наших ног, и на лазурный полог над ними; на поля земли, которые рожают и питают всё сущее, и на небесный свод, который объемлет всё. Теперь, в этот вечерний час, в пору отдыха и подкрепления, мне кажется, все сердца вдыхают один гимн любви и благодарения, а мы, подобно древним жрецам на вершинах гор, даём голос их чувству.

Несомненно, благая сила воздвигла величественное здание, в котором мы обитаем, и установила законы, по которым оно существует. Если бы само существование, а не счастье было конечной целью нашего бытия, зачем нужна была бы та обильная роскошь, которой мы наслаждаемся? Почему наше жилище было бы таким прекрасным, и почему инстинкты природы доставляли бы нам наслаждение? Сама поддержка жизни становится для нас радостью; и наша пища, плоды полей, окрашена в яркие цвета, наделена тонкими ароматами и хороша на вкус. Зачем это было бы, если бы ОН не был благ? Нам нужны дома, чтобы защищать нас от непогоды, и вот материалы, которыми мы снабжены: деревья растут, украшенные листвой; а каменные скалы, громоздящиеся над равнинами, разнообразят вид своими причудливыми очертаниями.

И не только внешние предметы являются вместилищами Духа Блага. Загляни в ум человека, где на троне восседает мудрость; где воображение, подобно художнику, касается своей кистью, обмакнутой в краски более прелестные, чем краски заката, украшая обыденную жизнь сияющими тонами. Какое благородное дарование, достойное дарителя, — воображение! оно отнимает у реальности её свинцовый оттенок; оно облакает всякую мысль и ощущение в сияющее покрывало и рукой красоты манит нас от пустынных просторов жизни в свои сады, беседки и рощи блаженства. И разве любовь не есть дар божества? Любовь и её дитя Надежда, которая может одарить богатством бедность, силой слабых и счастьем скорбящих.

Моя доля не была счастливой. Я долго общался с горем, вошёл в мрачный лабиринт безумия и вышел из него, но полуживой. И всё же я благодарю Бога, что я жил! Благодарю Бога, что я видел Его престол, небеса и землю — Его подножие. Я рад, что видел смены Его дня; что видел солнце, источник света, и кроткого странника-месяца; что видел огненные звёзды неба и цветущие цветы земли; что был свидетелем сева и жатвы. Я рад, что любил и испытывал сочувственную радость и печаль с моими ближними. Я рад сейчас чувствовать, как мысль струится в моём уме, как кровь по жилам моего тела; само существование есть наслаждение; и я благодарю Бога, что я живу!

И все вы, счастливые питомцы матери-земли, не вторите ли вы моим словам? Вы, кто связан нежными узами природы: спутники, друзья, влюблённые! Отцы, с радостью трудящиеся для своего потомства; женщины, которые, взирая на живые лики своих детей, забывают муки материнства; дети, которые не трудятся и не прядут, но любят и любимы!

О, если бы смерть и болезнь были изгнаны из нашего земного дома! если бы ненависть, тирания и страх больше не могли вить себе логово в человеческом сердце! чтобы каждый человек нашёл брата в своём ближнем и гнездо отдыха среди широких равнин своего наследия! чтобы источник слёз иссяк, и чтобы уста больше не произносили слов печали. Спя таким образом под благодетельным оком неба, может ли посетить тебя зло, о Земля, или горе убаюкать

твоих несчастных детей в могилах? Не шепчи об этом, пусть демоны услышат и возрадуются! Выбор за нами; пожелаем — и наше жилище станет раем. Ибо воля человека всемогуща: она притупляет стрелы смерти, смягчает ложе болезни и отирает слёзы агонии. И чего стоит каждый человек, если он не напрягает свои силы, чтобы помочь своим ближним? Моя душа — угасающая искра, моя природа хрупка, как увядший лист; но я посвящаю весь остаток ума и силы, который у меня есть, этому одному делу и принимаю на себя задачу, насколько я способен, — ниспослать благословения моим ближним!

Голос его дрожал, глаза были устремлены вверх, руки сжаты, и его хрупкая фигура сгибалась, словно от избытка чувства. Дух жизни, казалось, задерживался в его облике, как угасающее пламя на алтаре, что мерцает на углях принятой жертвы.

---

[1] Лимб — в католической теологии место пребывания душ некрещённых младенцев и праведников, умерших до пришествия Христа.

## ГЛАВА V

Когда мы прибыли в Виндзор, я узнал, что Раймонд и Пердита уехали на континент. Я поселился в коттедже сестры и радовался, что живу рядом с Виндзорским замком. Любопытно, что как раз тогда, когда благодаря браку Пердиты я породнился с одним из богатейших людей Англии и был в тесной дружбе с её знатнейшим вельможей, я испытывал самую тяжёлую нужду, какую только знал. Я слишком хорошо знал светские обычаи лорда Раймонда, чтобы когда-либо обратиться к нему, как бы глубока ни была моя бедность. Тщетно я твердил себе, что его кошелёк открыт для меня, когда речь идёт об Адриане; что если души наши едины, то и имущество должно быть общим. Я никогда не мог смотреть на его щедрость как на средство избавления от нужды; я даже поспешно отклонял его предложения помощи, уверяя его, хотя и ложно, что не нуждаюсь в них. Как мог я сказать этому великодушному человеку: «Содержи меня в праздности? Ты, отдающий все силы и состояние на благо других, неужели станешь поддерживать в бездействии сильного, здорового и способного человека?»

Но я не смел просить его употребить своё влияние, чтобы получить для меня достойную должность, — тогда я был бы вынужден покинуть Виндзор. Я вечно бродил вокруг стен замка, под его тенистыми деревьями; моими единственными спутниками были книги и любовные грёзы. Я изучал мудрость древних и всматривался в счастливые стены, укрывавшие возлюбленную моей души. Однако ум мой был праздным. Я перечитывал старую поэзию; я штудировал метафизику Платона и Беркли. Я читал истории Греции и Рима, а также прежних времён Англии и следил за каждым движением дамы моего сердца. Ночью я мог видеть её тень на стенах её комнаты; днём я видел её в цветнике или скачущей верхом в парке с обычными спутниками. Мне казалось, что чары разрушатся, если меня увидят, но я слышал музыку её голоса и был счастлив. Я придавал каждой героине, о которой читал, её красоту и непревзойдённые достоинства — такой была Антигона [1], когда вела слепого Эдипа в рошу Эвменид и совершала погребальный обряд над Полиником; такой была Миранда в неведомой пещере Просперо; такой была Гайде на песках Ионического острова. Я был безумен от избытка страстного обожания; но гордость, неукротимая, как огонь, владела мною и удерживала от того, чтобы выдать себя словом или взглядом.

Между тем, пока я питал себя богатой умственной пищей, иной крестьянин презрел бы мой скудный стол, который я порой отнимал у лесных белок. Признаюсь, я часто поддавался искушению вернуться к беззаконным подвигам моего детства и стрелять почти ручных фазанов, сидевших на деревьях и устремлявших на меня свои ясные глаза. Но они были собственностью Адриана, питомцами Идрис; и хотя моё воображение, изощрённое лишениями, внушало мне, что они больше пристали бы вертелу на моей кухне, чем зелёной листве леса, я обуздывал свою гордую волю и не ел; но ужинал чувствами и тщетно грезил о лакомых кусках, которых не мог достичь наяву.

Но тогда весь уклад моего существования должен был перемениться. Сирота и небрегомый сын Верни стоял на пороге того, чтобы связать себя с обществом золотой цепью и войти во все обязанности и радости жизни. Чудеса должны были свершиться в мою пользу, колесо судьбы должно было повернуться вспять. Внемли, о читатель, пока я повествую эту повесть о чудесах!

Однажды, когда Адриан и Идрис ехали верхом через лес вместе с матерью и обычными спутниками, Идрис, отозвав брата в сторону от остальной кавалькады, внезапно спросила:

— Что случилось с его другом, Лайонелом Верни?

— Даже отсюда, — ответил Адриан, указывая на коттедж моей сестры, — ты можешь видеть его жилище.

— В самом деле! — сказала Идрис. — И почему же, если он так близко, он не приходит к нам и не присоединяется к нашему обществу?

— Я часто навещаю его, — ответил Адриан, — но ты легко можешь догадаться о причинах, которые удерживают его от того, чтобы приходить туда, где его присутствие могло бы кого-нибудь стеснить.

— Я догадываюсь о них, — сказала Идрис, — и, каковы бы они ни были, я не решилась бы их оспаривать. Однако скажи мне, как он проводит время; что он делает и о чём думает в своём уединённом коттедже?

— Ну, моя милая сестра, — ответил Адриан, — ты спрашиваешь меня о большем, чем я могу хорошо ответить; но если он тебе интересен, почему бы тебе не навестить его? Он будет очень польщён, и таким образом ты сможешь отчасти вознаградить меня за долг, который я ему обязан, и возместить те обиды, которые ему нанесла судьба.

— Я охотно соглашусь сопровождать тебя в его жилище, — сказала леди, — не потому, что я желаю, чтобы кто-либо из нас освободился от нашего долга, который, будучи не меньшим, чем твоя жизнь, должен оставаться неоплатным навеки. Но поедем; завтра мы договоримся выехать вместе и, направившись в ту часть леса, навестим его.

На следующий вечер, хотя осенняя погода принесла с собой холод и дождь, Адриан и Идрис вошли в мой коттедж. Они застали меня, словно Курия[2], за ужином, состоявшим из жалких плодов; но они принесли дары, более богатые, чем золотые подношения сабинян, и я не мог отказаться от бесценного дара дружбы и восторга, который они даровали. Поистине, славные близнецы Латоны[3] не были более желанны, когда на заре мира они родились, чтобы украсить и осветить этот «бесплодный мыс», чем эта ангельская чета в моём убогом жилище и благодарном сердце. Мы сидели как одна семья вокруг моего очага. Наш разговор был о предметах, не связанных с чувствами, которые, очевидно, занимали каждого; но каждый из нас угадывал мысль другого, и в то время как наши голоса говорили о безразличных вещах, наши глаза на немом языке рассказывали тысячу вещей, которых никакой язык не мог бы произнести.

Они покинули меня через час. Они оставили меня счастливым — как неизъяснимо счастливым. Не нужно было слов, чтобы произнести историю моего восторга. Идрис посетила меня; Идрис я буду видеть снова и снова — моё воображение не простиралось дальше полноты этого знания. Я ступал по воздуху; ни сомнение, ни страх, ни даже надежда не тревожили меня; я душой своей постигал полноту удовлетворения, довольный, не желающий ничего, блаженный.

Много дней Адриан и Идрис продолжали так навещать меня. В этом дорогом общении любовь, под видом восторженной дружбы, всё более и более вливалась в меня свой всемогущий дух. Идрис чувствовала это. Да, божество мира, я читал твои знаки в её взглядах и жестах; я слышал твой мелодичный голос, вторивший ей — ты приготовил для нас мягкий и цветущий путь, все нежные мысли украшали его — твоё имя, о Любовь, не было произнесено, но ты стоял, Гений Часа, завуалированный, и время, но не смертная рука, могло поднять завесу. Органы членораздельной речи не провозглашали союз наших сердец; ибо неблагоприятные обстоятельства не давали возможности для того выражения, которое витало на наших устах. О моё перо! спешి написать то, что было, прежде чем мысль о том, что есть, остановит руку, направляющую тебя. Если я подниму глаза и увижу пустынную землю и почувствую, что те дорогие глаза угасили свой блеск и что те прекрасные уста безмолвны, их «багряные листья» увяли, навеки я онемею!

Но ты живёшь, моя Идрис, даже теперь ты движешься передо мной! Была поляна, о читатель! травянистая прогалина в лесу; отступающие деревья оставляли её бархатный простор как храм для любви; серебристый Темза окаймлял её с одной стороны, и склонённая ива окунала в воду свои наядные волосы, разметанные незримой рукой ветра. Окрестные дубы были домом для племени соловьёв — там я сейчас; Идрис, в дорогой поре юности, рядом со

мною — помни, мне только двадцать два, а семнадцать лет едва минуло возлюбленной моего сердца. Река, вздущаяся осенними дождями, затопила низины, и Адриан в своей любимой лодке занят опасной забавой — срывает верхнюю ветвь с затопленного дуба. Устал ли ты от жизни, о Адриан, что ты так играешь с опасностью? —

Он добыл свой трофей и правит лодкой по потоку; наши глаза были устремлены на него со страхом, но течение уносило его от нас; он был вынужден высадиться гораздо ниже по течению и проделать значительный крюк, прежде чем смог к нам присоединиться.

— Он в безопасности! — сказала Идрис, когда он спрыгнул на берег и помахал веткой над головой в знак успеха; — мы подождём его здесь.

Мы были одни; солнце зашло; началось пение соловьёв; вечерняя звезда ярко сияла в потоке света, ещё не угасшего на западе. Голубые глаза моей ангельской девушки были устремлены на этот милый образ самой себя:

— Как трепещет свет, — сказала она, — который есть жизнь той звезды. Её колеблющееся сияние, кажется, говорит о том, что её состояние, даже как наше на земле, колеблется и непостоянно; она боится, мне кажется, и она любит.

— Не смотри на звезду, дорогой, великодушный друг, — воскликнул я, — не читай любовь в её трепещущих лучах; не смотри на далёкие миры; не говори о простом воображении чувства. Я долго молчал; долго, до боли, я желал говорить с тобой и вверить тебе свою душу, свою жизнь, всего себя. Не смотри на звезду, дорогая любовь, или смотри, и пусть та вечная искра ходатайствует за меня; пусть она будет моим свидетелем и моим заступником, безмолвно сияя — любовь для меня — как свет для звезды; пока она не затмится уничтожением, я буду любить тебя.

Навеки скрыт от бесчувственного взора мира должен остаться восторг того мгновения. Я всё ещё чувствую, как её грациозный стан прижимается к моему переполненному сердцу — всё ещё зрение, пульс и дыхание слабеют и замирают при воспоминании о том первом поцелуе. Медленно и безмолвно мы пошли навстречу Адриану, чьё приближение мы слышали.

Я умолял Адриана вернуться ко мне после того, как он проводит сестру домой. И в тот же вечер, бродя по лунным лесным тропам, я излил всю свою душу, её восторг и надежду, моему другу. На мгновение он выглядел встревоженным.

— Я мог бы предвидеть это, — сказал он, — какая же теперь начнётся борьба! Прости меня, Лайонел, и не удивляйся, что ожидание борьбы с моей матерью тревожит меня, когда в ином случае я с радостью признал бы, что мои лучшие надежды сбылись, доверив мою сестру твоей защите. Если ты ещё не знаешь, то скоро узнаешь, какую глубокую ненависть питает моя мать к имени Верни. Я поговорю с Идрис; затем всё, что может сделать друг, я сделаю; ей предстоит проявить себя возлюбленной, если она на это способна.

В то время как брат и сестра всё ещё колебались, каким образом им лучше всего попытаться склонить мать на свою сторону, она, подозревая наши встречи, уличила в них своих детей; уличила свою прекрасную дочь в обмане и неподобающей привязанности к тому, чьей единственной заслугой было быть сыном распутного фаворита её неблагоразумного отца; и кто, несомненно, был столь же никчёмным, как и тот, от кого он хвастался своим происхождением. Глаза Идрис сверкнули при этом обвинении; она ответила:

— Я не отрицаю, что люблю Верни; докажи мне, что он никчёмный, и я больше никогда не увижу его.

— Дорогая матушка, — сказал Адриан, — позволь мне умолять тебя увидеть его, войти с ним в дружбу. Тогда ты, как и я, будешь удивлена широтой его знаний и блеском его талантов. (Прости меня, нежный читатель, это не суетное тщеславие; — не суетное, ибо знать, что Адриан чувствовал так, приносит радость даже теперь моему одинокому сердцу).

— Безумный и глупый мальчишка! — воскликнула разгневанная дама. — Ты избрал своими грёзами и теориями ниспровергать мои планы для твоего собственного возвышения;

но ты не сделаешь того же с теми, которые я составила для твоей сестры. Я слишком хорошо понимаю то очарование, под которым вы оба находитесь; ибо я вела такую же борьбу с твоим отцом, чтобы он отрёкся от родителя этого юноши, который скрывал свои дурные наклонности с гладкостью и хитростью гадюки. В те дни как часто я слышала о его привлекательности, о его обширных победах, его остроумии, его изысканных манерах. Хорошо, когда в такие паузы сети попадают только мухи; но пристало ли высокородным и могущественным склоняться выи под ничтожное иго этих бессмысленных притязаний? Если бы твоя сестра действительно была тем ничтожным существом, каким она должна была бы быть, я охотно предоставила бы её судьбе, жалкой участи жены человека, чей самый облик, так похожий на облик его презренного отца, должен напоминать вам о той глупости и пороке, которые он символизирует — но помни, леди Идрис, не одна лишь некогда королевская кровь Англии течёт в твоих жилах, ты — принцесса Австрийская, и каждая капля жизни сродни императорам и королям. Так неужели ты подходящая пара для необразованного пастушка, чьё единственное наследство — запятнанное имя его отца?

— Я могу привести только одну защиту, — ответила Идрис, — ту же, что предложил мой брат; увидься с Лайонелом, поговори с моим пастушком. — Графиня прервала её с негодованием:

— Твоим! — воскликнула она; а затем, смягчив свои страстные черты до презрительной улыбки, продолжала: — Мы поговорим об этом в другой раз. Всё, о чём я сейчас прошу, всё, о чём твоя мать, Идрис, просит, — чтобы ты не виделась с этим выскочкой в течение одного месяца.

— Я не смею согласиться, — сказала Идрис, — это причинило бы ему слишком много боли. Я не имею права играть его чувствами, принимать его предлагаемую любовь, а затем уязвлять его пренебрежением.

— Это слишком далеко заходит, — ответила её мать с дрожащими губами и глазами, снова разожжёнными гневом.

— Но, мадам, — сказал Адриан, — если моя сестра не соглашается никогда больше не видеть его, то, несомненно, будет бесполезной пыткой разлучать их на месяц.

— Разумеется, — ответила бывшая королева с горькой насмешкой, — его любовь, и её любовь, и оба их ребяческих трепета должны быть поставлены в должное сравнение с моими годами надежды и тревоги, с обязанностями отпрысков королей, с высоким и достойным поведением, которого должна придерживаться особа её происхождения. Но мне не подобает спорить и жаловаться. Возможно, вы будете так добры обещать мне не вступать в брак в течение этого промежутка времени?

Это было сказано лишь наполовину иронически; и Идрис удивилась, зачем её матери требовать у неё торжественное обещание не делать того, о чём она и не помышляла — но обещание было потребовано и дано.

Теперь всё шло весело; мы встречались как обычно и говорили без страха о наших будущих планах. Графиня была так нежна и даже сверх обычного любезна со своими детьми, что они начали питать надежды на её окончательное согласие. Она была слишком непохожа на них, слишком чужда их вкусам, чтобы они находили удовольствие в её обществе или в перспективе его продолжения, но им было приятно видеть её примирительной и доброй. Однажды даже Адриан осмелился предложить, чтобы она приняла меня. Она отказалась с улыбкой, напомнив ему, что на данный момент его сестра обещала быть терпеливой.

Однажды, после того как прошло почти месяц, Адриан получил письмо от друга из Лондона, требующее его немедленного присутствия для содействия какому-то важному делу. Будучи сам чистосердечным, Адриан не боялся обмана. Я проводил его до Стейнса; он был в отличном настроении; и, поскольку я не мог видеть Идрис во время его отсутствия, он обещал быстро вернуться. Его чрезвычайная весёлость имела странное действие — пробуждать во

мне противоположные чувства; предощущение зла тяготело надо мной; я медлил на обратном пути; я считал часы, которые должны были пройти, прежде чем я снова увижу Идрис. Зачем это было? Какое зло не могло случиться за это время? Не могла ли её мать воспользоваться отсутствием Адриана, чтобы принудить её сверх её терпения, возможно, заманить в ловушку? Я решил, что бы ни случилось, увидеть и поговорить с ней на следующий день. Это решение успокоило меня. Завтра, прекраснейшая и лучшая, надежда и радость моей жизни, завтра я увижу тебя — Глупец, мечтать о мгновении отсрочки!

Я отправился на покой. После полуночи меня разбудил яростный стук. Стояла глубокая зима; шёл снег и всё ещё шёл; ветер свистел в безлистных деревьях, срывая с них белые хлопья, когда те падали; его унылый вой и продолжающийся стук дико смешивались с моими снами — наконец я проснулся совсем; поспешно одевшись, я бросился узнать причину этого переполоха и открыть дверь нежданному посетителю. Бледная, как снег, осыпавший её, со сжатыми руками, Идрис стояла передо мной.

— Спаси меня! — воскликнула она и упала бы на землю, если бы я не поддержал её. Однако через мгновение она пришла в себя и с энергией, почти с яростью, умоляла меня оседлать лошадей, увезти её, увезти в Лондон — к её брату — по крайней мере спасти её. У меня не было лошадей — она заламывала руки.

— Что мне делать? — воскликнула она, — я погибла — мы оба погибли навеки! Но иди — иди со мной, Лайонел; здесь я не могу оставаться, — мы можем достать экипаж на ближайшей почтовой станции; но, возможно, у нас ещё есть время! иди, о иди со мной спасти и защитить меня!

Когда я услышал её жалобные мольбы, с беспорядочной одеждой, растрёпанными волосами и испуганным взглядом, она заламывала руки — меня осенила мысль: неужели и она безумна? —

— Милая, — и я прижал её к сердцу, — лучше отдохнуть, чем блуждать дальше; — отдохни, моя возлюбленная, я разведу огонь — ты озябла.

— Отдохнуть! — воскликнула она, — покой! ты бредишь, Лайонел! Если ты будешь медлить, мы погибли; иди, умоляю тебя, если только ты не хочешь отвергнуть меня навеки.

Что Идрис, рождённая принцесса, питомица богатства и роскоши, пришла через бурную зимнюю ночь из своего королевского жилища и, стоя у моей низкой двери, закликает меня бежать с ней через тьму и бурю — это, несомненно, был сон — снова её жалобные ноты, вид её красоты убедили меня, что это не видение. Робко оглядываясь вокруг, словно боясь, что её подслушают, она прошептала:

— Я узнала — завтра — то есть сегодня — завтра уже настало — до рассвета чужеземцы, австрийцы, наёмники моей матери должны увезти меня в Германию, в тюрьму, замуж — к чему угодно, только не к тебе и не к моему брату — увези меня, или скоро они будут здесь!

Я был испуган её горячностью и вообразил, что в её бессвязном рассказе есть какая-то ошибка; но я больше не колебался повиноваться ей. Она пришла одна из замка, целых три мили, в полночь, сквозь глубокий снег; мы должны были добраться до Энглфилд-Грин, ещё на полторы мили дальше, прежде чем мы сможем достать экипаж. Она сказала мне, что сохранила силы и мужество до прибытия в мой коттедж, а затем и то, и другое оставило её. Теперь она едва могла идти. Поддерживая её, я всё равно чувствовал, как она отстаёт; на расстоянии полумили, после многих остановок, приступов дрожи и полубормороков, она выскользнула из моих рук и упала на снег и с потоком слёз поклялась, что её должны взять, потому что она не может продолжать путь. Я поднял её на руки; её лёгкая фигура покоилась на моей груди. — Я не чувствовал тяжести, кроме внутренней тяжести противоположных и борющихся чувств. Огромный восторг охватывал меня. Снова её холодные члены касались меня, и я содрогался в сочувствии к её боли и страху. Её голова лежала на моём плече, её дыхание шевелило мои волосы, её сердце билось рядом с моим, восторг заставлял меня дрожать, ослеплял меня, уни-

чтожал меня — пока сдавленный стон, сорвавшийся с её губ, стучание её зубов, которое она тщетно пыталась подавить, и все признаки страданий, которые она выказывала, не напомнили мне о необходимости спешить и помогать. Наконец я сказал ей:

— Вот Энглфилд-Грин; вот гостиница. Но если тебя увидят при таких странных обстоятельствах, дорогая Идрис, даже сейчас твои враги могут слишком скоро узнать о твоём бегстве: не лучше ли мне нанять экипаж одному? Я тем временем спрячу тебя в безопасное место и сразу же вернусь к тебе.

Она ответила, что я прав и могу поступить с ней, как я хочу. Я заметил, что дверь небольшой хозяйственной постройки приоткрыта. Я толкнул её; и, набросав немного сена, устроил для неё ложе, уложив её изнурённое тело на него и укрыв своим плащом. Я боялся оставить её, она выглядела такой бледной и слабой — но через мгновение она снова обрела живость, а вместе с ней и страх; и снова умоляла меня не медлить. Разбудить людей в гостинице, достать экипаж и лошадей, даже если бы я сам запряг их, заняло много минут; минут, каждая из которых была отягощена грузом веков. Я заставил экипаж немного продвинуться вперёд, подождал, пока люди в гостинице удалились, а затем велел почтальону подогнать карету к тому месту, где Идрис, нетерпеливая и теперь немного оправившаяся, стояла, ожидая меня. Я поднял её в экипаж; я заверил её, что с нашими четырьмя лошадьми мы доберёмся до Лондона до пяти часов, того часа, когда её будут искать и хватятся. Я умолял её успокоиться; благотворный поток слёз облегчил её, и мало-помалу она рассказала мне свою повесть о страхе и опасности.

В ту же самую ночь после отъезда Адриана её мать горячо убеждала её по поводу её привязанности ко мне. Каждый довод, каждая угроза, каждая гневная насмешка были тщетны. Казалось, она считала, что через меня она потеряла Раймонда; я был злым влиянием её жизни; меня даже обвиняли в том, что я усилил и утвердил безумное и низкое отступничество Адриана от всяких видов возвышения и величия; и теперь этот жалкий горец должен был украсть её дочь. Никогда, рассказывала Идрис, разгневанная дама не снисходила до мягкости и убеждения; если бы она это сделала, задача сопротивления была бы мучительно трудна. Так или иначе, великодушная натура милой девушки была возбуждена, чтобы защищать и объединяться с моим презираемым делом. Её мать закончила взглядом презрения и скрытого торжества, который на мгновение пробудил подозрения Идрис. Когда они расстались на ночь, графиня сказала:

— Завтра, я надеюсь, твой тон изменится: будь спокойна; я взволновала тебя; иди отдохни; и я пришлю тебе лекарство, которое я всегда принимаю, когда беспокойна сверх меры — оно обеспечит тебе спокойную ночь.

К тому времени, когда она с беспокойными мыслями прижала свою прекрасную щёку к подушке, служанка матери принесла питьё; при этом неожиданном обстоятельстве у неё снова промелькнуло подозрение, достаточно тревожное, чтобы решить не пить снадобье; но нелюбовь к спорам и желание узнать, есть ли у её догадок какое-либо оправдание, заставили её, как она сказала, почти инстинктивно и вопреки своей обычной откровенности, притвориться, что она глотает лекарство. Затем, взволнованная, как она была, яростью матери, а теперь и непривычными страхами, она лежала не в силах уснуть, вздрагивая при каждом звуке. Скоро её дверь тихо открылась, и когда она вскочила, она услышала шёпот: «Ещё не спит», — и дверь снова закрылась. С бьющимся сердцем она ожидала другого визита, и когда через некоторое время в её комнату снова вторглись, сначала убедившись, что непрошенные гости — её мать и служанка, она притворилась спящей. Шаг приблизился к её постели, она не смела пошевелиться, она старалась успокоить своё сердцебиение, которое становилось всё более сильным, когда она услышала, как её мать бормочет:

— Хорошенькая простушка, мало ты думаешь, что твоя игра уже навеки кончена.

На мгновение бедной девушке показалось, что её мать верит, что она выпила яд: она уже готова была вскочить; когда графиня, уже на расстоянии от постели, тихо заговорила со своей спутницей, и Идрис снова прислушалась:

— Торопись, — сказала она, — нельзя терять времени — уже далеко за одиннадцать; они будут здесь в пять; возьми только одежду, необходимую для её путешествия, и её шкатулку с драгоценностями.

Служанка повиновалась; с обеих сторон было сказано мало слов; но те были с жадностью схвачены намеченной жертвой. Она услышала имя своей собственной горничной; —

— Нет, нет, — ответила её мать, — она не поедет с нами; леди Идрис должна забыть Англию и всё, что к ней относится.

И снова она услышала:

— Она не проснётся до завтрашнего позднего утра, а мы тогда будем уже в море.

— Всё готово, — наконец объявила женщина. Графиня снова подошла к постели дочери:

— По крайней мере в Австрии, — сказала она, — ты будешь повиноваться. В Австрии, где послушание может быть принудительным, и нет выбора, кроме как между почётной тюрьмой и подобающим браком.

Обе затем удалились; хотя, уходя, графиня сказала:

— Тихо; все спят; хотя не все были подготовлены ко сну, как она. Я бы не хотела, чтобы кто-нибудь заподозрил, не то она может быть пробуждена к сопротивлению и, возможно, бежать. Иди со мной в мою комнату; мы останемся там до условленного часа.

Они ушли. Идрис, охваченная паникой, но воодушевлённая и укреплённая даже чрезмерным страхом, поспешно оделась и, спустившись по чёрной лестнице, избегая близости комнаты матери, сумела выбраться из замка через низкое окно и пришла сквозь снег, ветер и тьму к моему коттеджу; она не теряла мужества, пока не прибыла и, вверив свою судьбу в мои руки, не отдалась отчаянию и усталости, которые её одолели.

Я утешал её как мог. Радость и ликование были моими — обладать ею и спасти её. Однако, чтобы не возбуждать в ней нового волнения, я обуздал свой восторг. Я старался утишить лихорадочное биение моего сердца; я отводил от неё свои глаза, сиявшие слишком большой нежностью, и, обратившись к тёмной ночи и суровой погоде, беззвучно шептал слова, рождённые упоением. Мы добрались до Лондона, мне казалось, слишком скоро; и всё же я не мог сожалеть о нашем быстром прибытии, когда я стал свидетелем экстаза, с которым моя любимая оказалась в объятиях брата, в безопасности от всякого зла, под его надёжной защитой.

Адриан написал краткую записку своей матери, извещая её, что Идрис находится под его опекой и покровительством. Прошло несколько дней, и наконец пришёл ответ, датированный Кёльном.

«Бесполезно, — писала высокомерная и разочарованная леди, — графу Виндзорскому и его сестре обращаться снова к оскорблённой родительнице, единственную надежду на покой она может обрести лишь тогда, когда забудет об их существовании. Её желания были разбиты, её планы рухнули. Она не жаловалась; при дворе её брата она найдёт не возмещение за их непослушание, а лишь такое положение и образ жизни, которые могли бы примирить её с судьбой. При таких обстоятельствах она положительно отказывается от всякого общения с ними.»

Таковы были странные и невероятные события, которые в конце концов привели к моему союзу с сестрой моего лучшего друга, с моей обожаемой Идрис. С простотой и мужеством она отбросила предрассудки и противодействие, стоявшие на пути к моему счастью, и не усомнилась отдать свою руку там, где отдала своё сердце. Быть достойным её, подняться до её нравственной высоты, развивая свои способности и укрепляя свои добродетели; воздать за её любовь преданной, неустанной нежностью — вот единственная благодарность, которую я мог предложить за этот бесценный дар.

---

[1] Антигона — героиня одноимённой трагедии Софокла, дочь Эдипа, совершившая погребение брата Полиника вопреки запрету царя.

[2] Курий Дентат — римский полководец и государственный деятель, прославившийся скромностью и отказом от богатства.

[3] Близнецы Латоны — Аполлон и Артемида, дети Зевса и Латоны.

## ГЛАВА VI

А теперь пусть читатель, перешагнув через несколько лет, войдёт в наш счастливый круг. Адриан, Идрис и я обосновались в Виндзорском замке; лорд Раймонд и моя сестра жили в доме, который он построил на границах Большого парка, рядом с коттеджем Пердиты — так всё ещё называлось это скромное жилище, где мы двое, бедные даже надеждой, обрели залог нашего счастья. У нас были свои занятия и общие развлечения. Иногда мы проводили целые дни в тени леса с книгами и музыкой. Это случалось в те редкие для этой страны дни, когда солнце восходит на свой эфирный престол в неомрачённом величии, а безветренная атмосфера подобна купели из прозрачной и благодатной воды, погружая чувства в безмятежность. Когда облака заволакивали небо, и ветер разгонял их туда и сюда, разрывая их ткань и разбрасывая её обрывки по воздушным равнинам, — тогда мы выезжали верхом и искали новые места красоты и покоя. Когда частые дожди запирали нас в доме, вечерние развлечения следовали за утренними занятиями, предваряемые музыкой и пением. Идрис обладала природным музыкальным талантом; и её голос, тщательно развитый, был полон и сладок. Раймонд и я участвовали в концертах, а Адриан и Пердита были восторженными слушателями. Мы были тогда веселы, как летние насекомые, игривы, как дети; мы всегда встречались с улыбками и читали довольство и радость на лицах друг друга. Наши главные празднества устраивались в коттедже Пердиты; и нам никогда не надоедало говорить о прошлом или мечтать о будущем. Ревность и беспокойство были неведомы среди нас; ни страх, ни надежда на перемену не нарушали нашего покоя. Другие говорили: «Вы, должно быть, счастливы», — мы же говорили: «Мы счастливы».

Когда между нами случалась разлука, обычно так бывало, что Идрис и Пердита уходили бродить вместе, а мы оставались обсуждать дела государств и философию жизни. Само различие наших натур придавало этим беседам остроту. Адриан превосходил нас учёностью и красноречием; но Раймонд обладал быстрой проницательностью и практическим знанием жизни, которое обыкновенно проявлялось в противовес Адриану и таким образом поддерживало спор. В другое время мы предпринимали многодневные экскурсии и пересекали страну, чтобы посетить любое место, известное своей красотой или историческими ассоциациями. Иногда мы отправлялись в Лондон и погружались в развлечения шумной толпы; иногда наше уединение нарушалось посетителями оттуда. Эта перемена лишь делала нас более чувствительными к прелестям нашего тесного круга, безмятежности нашего божественного леса и счастливым вечерам в залах нашего любимого замка.

Нрав Идрис был особенно открытым, мягким и любящим. Её характер был неизменно сладостен; и хотя она была тверда и решительна в любом вопросе, затрагивавшем её сердце, она была уступчива с теми, кого любила. Характер Пердиты был не столь безупречен; но нежность и счастье улучшили её нрав и смягчили её природную сдержанность. Её ум был ясен и всеобъемлющ, воображение живо; она была искренна, великодушна и рассудительна. Адриан, несравненный брат моей души, чувствительный и превосходный Адриан, любящий всех и любимый всеми, казалось, всё же был предназначен не найти свою половину, которая завершила бы его счастье. Он часто покидал нас и бродил один по лесам или плывал в своей маленькой лодке, и его книги были единственными спутниками. Он был часто самым весёлым в нашей компании, но в то же время единственным, кого посещали приступы уныния; его хрупкое тело казалось перегруженным тяжестью жизни, и его душа, казалось, скорее обитала в его теле, чем соединялась с ним. Я был едва ли не более предан моей Идрис, чем её брату, и она любила его как своего наставника, друга, благодетеля, который обеспечил ей исполнение её заветнейших желаний. Раймонд, честолюбивый, беспокойный Раймонд, отдыхал на полпути на большой дороге жизни и был доволен отказаться от всех своих замыслов о власти и славе, чтобы стать одним из нас, полевыми цветами. Его царством было сердце Пердиты, его подданными — её мысли;

им она любила, уважала его как высшее существо, повиновалась ему, служила ему. Никакая служба, никакое обожание, никакое бдение не были ей в тягость, когда дело касалось его. Она сидела в стороне от нас и наблюдала за ним; она плакала от радости при мысли, что он принадлежит ей. Она воздвигла ему храм в глубине своей души, и каждая способность была жрицей, посвящённой ему на службу. Иногда она могла быть своенравной и капризной; но её раскаяние было горьким, её возвращение — полным, и даже эта неровность нрава подходила ему, кто не был создан природой, чтобы беззаботно плыть по течению жизни.

В течение первого года их брака Пердита родила Раймонду прелестную девочку. Любопытно было проследить в этой миниатюрной модели самые черты её отца. Те же полупрезрительные губы и улыбка торжества, те же умные глаза, тот же лоб и каштановые волосы; даже её руки и тонкие пальцы напоминали его. Как дорога она была Пердите! С течением времени и я стал отцом, и наши маленькие любимцы, наши игрушки и радости, пробуждали тысячи новых и упоительных чувств.

Так проходили годы — даже годы. Каждый месяц приносил свой преемник, каждый год был похож на ушедший; поистине, наша жизнь была живым комментарием к тому прекрасному изречению Плутарха, что «наши души имеют естественную склонность к любви, будучи рождены так же для любви, как для чувства, разума, понимания и памяти». Мы говорили о переменах и деятельных занятиях, но всё ещё оставались в Виндзоре, не в силах нарушить то очарование, что привязывало нас к нашей уединённой жизни.

Казалось, здесь мы собрали всё благо,

Что между смертными по разным местам разбросано.

Теперь, когда наши дети давали нам занятие, мы находили оправдание нашей праздности в мысли воспитать их для более блестящей карьеры. Наконец наше спокойствие было нарушено, и течение событий, которое в течение пяти лет текло в умиротворяющей тишине, было прервано бурунами и препятствиями, которые пробудили нас от нашего приятного сна.

Предстояли выборы нового лорда-протектора Англии; и, по просьбе Раймонда, мы переехали в Лондон, чтобы присутствовать и даже принять участие в выборах. Если бы Раймонд был женат на Идрис, эта должность была бы для него ступенькой к высшему достоинству; и его желание власти и славы увенчалось бы полной мерой. Он обменял скипетр на лютню, корольство на Пердиту.

Думал ли он об этом, когда мы ехали в город? Я наблюдал за ним, но мог мало что понять. Он был особенно весел, играл со своим ребёнком и обращал в шутку каждое произнесённое слово. Возможно, он делал это потому, что видел облако на челе Пердиты. Она пыталась подбодриться, но её глаза то и дело наполнялись слезами, и она с тоской смотрела на Раймонда и свою девочку, словно боялась, что с ними случится какое-то зло. И она чувствовала это. Предчувствие беды тяготело над ней. Она выглянула из окна, глядя на лес и на башни замка, и когда они скрылись за промежуточными предметами, она страстно воскликнула: «Счастливые места! Священные для любви места! Когда я увижу вас снова? И когда увижу, буду ли я всё ещё любимой и радостной Пердитой, или же я, с разбитым сердцем и потерянная, буду бродить среди ваших рощ, призраком того, чем была!»

«Ну, глупышка, — воскликнул Раймонд, — о чём это твоя маленькая головка размышляет, что ты вдруг стала такой возвышенно мрачной? Ободришь, не то я передам тебя Идрис, а Адриана приглашу в карету, который, как я вижу по его жестам, разделяет моё весёлое настроение.»

Адриан был верхом; он подъехал к карете, и его весёлость, в дополнение к весёлости Раймонда, развеяла меланхолию моей сестры. Мы въехали в Лондон вечером и направились в наши различные жилища близ Гайд-парка.

На следующее утро лорд Раймонд навестил меня рано. «Я пришёл, хотя и не совсем уверен, что вы поможете мне в моём замысле, но решив довести его до конца, согласны вы

со мной или нет. Однако обещайте мне тайну; ибо если вы не будете способствовать моему успеху, то по крайней мере не должны мне мешать.»

«Хорошо, я обещаю. А теперь...»

«А теперь, мой дорогой, зачем мы приехали в Лондон? Чтобы присутствовать при выборах протектора и отдать свой голос за или против его сиятельства...? или за этого шумного Райленда? Неужели вы думаете, Верни, что я привёз вас в город для этого? Нет, у нас будет свой протектор. Мы выдвинем кандидата и обеспечим его успех. Мы выдвинем Адриана и сделаем всё возможное, чтобы даровать ему власть, на которую он имеет право по рождению и которую заслуживает своими добродетелями.

«Не отвечайте; я знаю все ваши возражения и отвечу на них по порядку. Во-первых, согласится он или нет стать великим человеком? Предоставьте задачу убеждения в этом мне; я не прошу вас помогать мне в этом. Во-вторых, должен ли он обменять своё занятие — соби- рание ежевики и выхаживание раненых куропаток в лесу — на командование нацией? Мой дорогой Лайонел, мы женатые люди и находим достаточно занятий в том, чтобы развлекать наших жён и танцевать с нашими детьми. Но Адриан один, без жены, без детей, без занятий. Я давно наблюдаю за ним. Он чахнет от недостатка интереса к жизни. Его сердце, измученное ранними страданиями, отдыхает, как зажившая конечность, и избегает всякого возбуждения. Но его ум, его милосердие, его добродетели нуждаются в поле для упражнения и проявления; и мы предоставим его им. Кроме того, разве не стыдно, что гений Адриана должен увянуть с лица земли, как цветок на нехоженой горной тропе, бесплодно? Неужели вы думаете, что природа создала его превосходный механизм без цели? Поверьте мне, он был предназначен быть творцом бесконечного блага для своей родной Англии. Разве она не наделила его всеми дарами щедро? — рождением, богатством, талантом, добротой? Разве все не любят и не восхищаются им? и разве он не находит радости лишь в таких усилиях, которые проявляют его любовь ко всем? Итак, я вижу, что вы уже убеждены и поддержите меня, когда я предложу его сегодня вечером в парламенте.»

«Вы изложили все свои аргументы в превосходном порядке, — ответил я; — и если Адриан согласится, они неопровержимы. Я поставил бы только одно условие: чтобы вы ничего не делали без его согласия.»

«Пожалуй, вы правы, — сказал Раймонд; — хотя сначала я думал устроить это дело иначе. Пусть будет так. Я немедленно пойду к Адриану; и если он склонен согласиться, вы не разрушите моих трудов, убедив его вернуться и снова стать белкой в Виндзорском лесу. Идрис, вы не будете предательницей по отношению ко мне?»

«Поверьте мне, — ответила она, — я сохраню строгий нейтралитет.»

«Что касается меня, — сказал я, — я слишком хорошо убеждён в достоинствах нашего друга и в том богатом урожае благ, который вся Англия пожнёт от его протекторства, чтобы лишать моих соотечественников такого благословения, если он согласится даровать его им.»

Вечером Адриан посетил нас. «Неужели вы тоже составляете заговор против меня, — сказал он со смехом, — и соединитесь с Раймондом, чтобы вытащить бедного мечтателя из облаков и окружить его фейерверками и взрывами земного величия вместо небесных лучей и ветров? Я думал, вы знаете меня лучше.»

«Я знаю тебя лучше, — ответил я, — чем думать, что ты был бы счастлив в таком положении; но добро, которое ты мог бы сделать другим, может послужить побуждением, поскольку, вероятно, настало время, когда ты можешь претворить свои теории в практику, и ты можешь произвести такие преобразования и перемены, которые приведут к той совершенной системе правления, которую ты любишь изображать.»

«Ты говоришь о почти забытом сне, — сказал Адриан, и лицо его слегка омрачилось, когда он говорил; — видения моей юности давно померкли в свете реальности; теперь я знаю,

что я не человек, способный управлять государствами; мне достаточно, если я буду держать в здоровом порядке маленькое царство моей собственной смертности.

«Но разве ты не видишь, Лайонел, направленность нашего благородного друга; направленность, возможно, неизвестную ему самому, но явную для меня. Лорд Раймонд никогда не был рождён быть трутнем в улье и находить довольство в нашей пастушеской жизни. Он думает, что должен быть удовлетворён; он воображает, что его нынешнее положение исключает возможность возвышения; поэтому он даже в своём сердце не планирует перемен для себя. Но разве ты не видишь, что под видом возвышения меня он намечает для себя новый путь; путь действия, с которого он давно сбился?»

«Давай поможем ему. Он, благородный, воинственный, великий во всех качествах, которые могут украсить ум и облик человека; он создан быть протектором Англии. Если я — то есть, если мы предложим его, он несомненно будет избран и найдёт в функциях этой высокой должности простор для парящих сил своего ума. Даже Пердита возрадуется. Пердита, в которой честолюбие было скрытым огнём, пока она не вышла замуж за Раймонда, что событие было на время исполнением её надежд; Пердита возрадуется славе и возвышению своего господина — и, застенчиво и прелестно, будет не недовольна своей долей. А мы, мудрецы страны, вернёмся в наш замок и, подобно Цинциннату[1], примемся за наши обычные труды, пока наш друг не потребует нашего присутствия и помощи здесь.»

Чем больше Адриан размышлял над этим планом, тем более осуществимым он казался. Его собственное решение никогда не вступать в общественную жизнь было непреодолимо, и деликатность его здоровья была достаточным аргументом против этого. Следующим шагом было побудить Раймонда признаться в своих тайных желаниях достоинства и славы. Он вошёл, когда мы говорили. То, как Адриан принял его проект выдвинуть его кандидатом на протекторство, и его ответы уже пробудили в его уме тот взгляд на предмет, который мы сейчас обсуждали. Его лицо и манеры выдавали нерешительность и беспокойство; но беспокойство проистекало из страха, что мы не продолжим или не преуспеем в нашей идее; а его нерешительность — из сомнения, не рискнём ли мы потерпеть поражение. Несколько слов с нашей стороны решили его, и надежда и радость сверкнули в его глазах; мысль о том, чтобы вступить на путь, столь сродни его ранним привычкам и заветным желаниям, сделала его снова энергичным и смелым. Мы обсуждали его шансы, достоинства других кандидатов и расположение избирателей.

Всё же мы просчитались. Раймонд во многом утратил свою популярность и был покинут своими особыми сторонниками. Отсутствие на деятельной сцене привело к тому, что народ забыл его; его прежние парламентские сторонники состояли в основном из роялистов, которые были готовы сделать его кумиром, когда он выступал как наследник графства Виндзорского; но они стали безразличны к нему, когда он выступил с другими атрибутами и отличиями, чем те, которые, по их мнению, были общими для многих среди них. Тем не менее у него было много друзей, почитателей его выдающихся талантов; его присутствие в палате, его красноречие, обращение и внушительная красота были способны произвести электрический эффект. Адриан также, несмотря на свои отшельнические привычки и теории, столь враждебные духу партии, имел много друзей, и их легко было склонить голосовать за кандидата по его выбору.

Герцог ---- и мистер Райленд, старый противник лорда Раймонда, были другими кандидатами. Герцога поддерживали все аристократы республики, которые считали его своим должным представителем. Райленд был народным кандидатом; когда лорд Раймонд был впервые добавлен в список, его шанс на успех казался малым. Мы удалились с дебатов, последовавших за его выдвижением: мы, его выдвинувшие, были огорчены; он был чрезмерно удручён. Пердита горько упрекала нас. Её ожидания были сильно возбуждены; она ничего не возражала против нашего проекта, напротив, она была явно довольна им; но его очевидная неудача изменила течение её мыслей. Она чувствовала, что, раз пробуждённый, Раймонд никогда не вер-

нётся безропотно в Виндзор. Его привычки были расшатаны; его беспокойный ум пробуждён от сна, честолюбие теперь должно было стать его спутником на всю жизнь; и если он не преуспеет в своей нынешней попытке, она предвидела, что за этим последует несчастье и неизлечимое недовольство. Возможно, её собственное разочарование придало остроту её мыслям и словам; она не щадила нас, и наши собственные размышления прибавили нам беспокойства.

Было необходимо продолжить наше выдвижение и убедить Раймонда предстать перед избирателями на следующий вечер. Долгое время он был упрям. Он сядет на воздушный шар; он улетит в отдалённую часть света, где его имя и унижение неизвестны. Но это было бесполезно; его попытка была зарегистрирована; его намерение объявлено миру; его позор никогда не мог быть изглажен из памяти людей. Лучше было потерпеть неудачу после борьбы, чем бежать теперь, в начале его предприятия.

С того момента, как он принял эту мысль, он переменялся. Его уныние и тревога исчезли; он словно ожил, в нём вновь вскипели энергия и деятельный пыл. На лице его появилась торжествующая улыбка; решив преследовать свою цель до конца, он всем своим видом, казалось, предвещал исполнение желаний. Не так Пердита. Её испугала его весёлость, ибо она боялась ещё большего потрясения в конце. Если его появление даже внушало нам надежду, оно лишь усиливало её душевные муки. Она боялась упустить его из виду; но она боялась заметить любую перемену в его настроении. Она жадно слушала его, но мучила себя, вкладывая в его слова смысл, чуждый их истинному значению и враждебный её надеждам. Она не смела присутствовать при состязании; но она оставалась дома, терзаемая двойной тревогой. Она плакала над своей маленькой девочкой; она смотрела, она говорила так, словно боялась наступления какого-то ужасного бедствия. Она была почти вне себя от своего неукротимого волнения.

Лорд Раймонд предстал перед палатой с бесстрашной уверенностью и вкрадчивым обращением. После того как герцог ---- и мистер Райленд закончили свои речи, он начал. Несомненно, он не готовил речь заранее; сначала он колебался, останавливаясь в мыслях и в выборе слов. Постепенно он разогрелся; его слова текли легко, речь его обретала силу, а голос — убедительность. Он вернулся к своей прошлой жизни, своим успехам в Греции, своей благоклонности на родине. Почему он должен потерять это теперь, когда годы, опыт и тот залог, который его брак дал его стране, должны скорее увеличить, чем уменьшить его притязания на доверие? Он говорил о состоянии Англии; о необходимых мерах, которые следует принять для обеспечения её безопасности и утверждения её процветания. Он нарисовал яркую картину её нынешнего положения. Когда он говорил, всякий звук затих, все забыли обо всём, затаив дыхание. Его грациозное красноречие покоряло слушателей. Он также сумел примирить все партии. Его рождение нравилось аристократии; то, что он был кандидатом, рекомендованным Адрианом, человеком, близким к народной партии, привлекло на его сторону многих, кто не очень полагался ни на герцога, ни на мистера Райленда.

Борьба была ожесточённой и сомнительной. Ни Адриан, ни я не были бы так встревожены, если бы наш собственный успех зависел от наших усилий; но мы подстрекнули нашего друга к этому предприятию, и нам подобало обеспечить его торжество. Идрис, которая была высокого мнения о его способностях, была горячо заинтересована в исходе; а моя бедная сестра, которая не смела надеяться и для которой страх был мучением, была погружена в лихорадку беспокойства.

Дни тянулись один за другим; мы обсуждали планы на вечер, а ночи проходили в дебатах, не приносящих решения. Наконец наступил кризис: ночь, когда парламент, так долго откладывавший свой выбор, должен был решить: когда часы пробили двенадцать, и начался новый день, он по конституции распускался, теряя власть.

Мы собрались в доме Раймонда, мы и наши сторонники. В половине шестого мы отправились в Палату. Идрис старалась успокоить Пердиту; но бедная девушка была так взволнована, что утратила всякую способность владеть собой. Она ходила взад-вперёд по комнате,

с тревогой вглядываясь в каждого входящего, воображая, что они могут быть вестниками её судьбы. Я должен отдать должное моей милой сестре: она мучилась не из-за себя. Только она знала, какое значение придавал Раймонд своему успеху. Даже перед нами он принимал весёлый и надеющийся вид и делал это так хорошо, что мы не догадывались о тайной борьбе его души. Иногда нервная дрожь, резкий диссонанс голоса и мгновенные приступы рассеянности открывали Пердите насилие, которое он над собой совершал; но мы, поглощённые нашими планами, замечали только его готовый смех, его шутки, вставляемые при всяком случае, его неиссякаемую живость. Кроме того, Пердита была с ним наедине; она видела угрюмость, которая следовала за этим насильственным весельем; она замечала его тревожный сон, его мучительную раздражительность — однажды она видела его слёзы — её собственные едва ли переставали течь с тех пор, как она увидела крупные капли, которые уязвлённая гордость заставила собраться в его глазах, но которые гордость не могла рассеять. Что же удивительного, что её чувства были доведены до такого накала! Я так объяснял себе её волнение; но это было не всё: вскоре открылась и другая причина.

За мгновение до нашего отъезда мы выкроили время, чтобы проститься с нашими любимыми девушками. У меня было мало надежды на успех, и я просил Идрис присмотреть за моей сестрой. Когда я приблизился к последней, она схватила меня за руку и оттащила в другую комнату; она бросилась мне в объятия и долго и горько рыдала и всхлипывала. Я пытался утешить её; я просил её надеяться; я спросил, какие ужасные последствия могут наступить даже в случае нашей неудачи. «Брат мой, — воскликнула она, — защитник моего детства, дорогой, самый дорогой Лайонел, моя судьба висит на волоске. Теперь вы все вокруг меня — ты, товарищ моего детства; Адриан, столь же дорогой мне, как если бы связанный кровными узами; Идрис, сестра моего сердца, и её прелестное потомство. Это, о это может быть последний раз, когда вы окружите меня так!»

Она внезапно остановилась, а затем воскликнула: «Что я сказала? — глупая, лживая девушка, я!» Она дико взглянула на меня, а затем внезапно успокоилась, извинилась за свои, как она назвала их, бессмысленные слова, сказав, что она, должно быть, действительно безумна, ибо пока Раймонд жив, она должна быть счастлива; а затем, хотя она всё ещё плакала, она спокойно позволила мне уйти. Раймонд, уходя, только взял её за руку и выразительно взглянул на неё; она ответила понимающим и согласным взглядом.

Бедная девушка! что она тогда вынесла! Я никогда не мог полностью простить Раймонда за те испытания, которым он подвергал её, вызванные, как они были, его себялюбием. Он задумал, если он потерпит неудачу в своей нынешней попытке, не прощаясь ни с кем из нас, отплыть в Грецию и никогда больше не посещать Англию. Пердита согласилась на его желание; ибо его довольство было главной целью её жизни, вершиной её счастья; но оставить нас всех, своих спутников, любимых товарищей своих счастливейших лет, и в промежутке скрывать это ужасное решение — была задача, почти сломившая её душевные силы. Она занималась приготовлениями к их отъезду; она обещала Раймонду в этот решающий вечер воспользоваться нашим отсутствием, чтобы проехать одну станцию пути, а он, после того как его поражение будет установлено, ускользнёт от нас и присоединится к ней.

Хотя, когда я был извещён об этом плане, я был горько оскорблён тем малым вниманием, которое Раймонд уделял чувствам моей сестры, я, поразмыслив, пришёл к выводу, что он действовал под влиянием такого сильного возбуждения, что оно лишало его способности здраво рассуждать, и потому его нельзя было винить в полной мере. Если бы он позволил нам быть свидетелями его волнения, он был бы более подвластен голосу разума; но его борьба за видимость спокойствия действовала на его нервы с такой силой, что разрушала его способность к самообладанию. Я убеждён, что в худшем случае он вернулся бы с морского берега, чтобы попрощаться с нами и сделать нас участниками своих советов. Но задача, возложенная на Пердиту, от этого не становилась менее мучительной. Он вырвал у неё клятву молчания; и её роль

в этой драме, которую ей предстояло играть в одиночестве, была самой мучительной, какую только можно было придумать. Но вернёмся к моему повествованию.

Дебаты до сих пор были долгими и шумными; их часто затягивали лишь ради того, чтобы оттянуть время. Но теперь каждый, казалось, боялся, как бы роковой момент не прошёл, пока выбор ещё не решён. Необычная тишина царила в палате, члены говорили шёпотом, и обычные дела вершились быстро и тихо. На первом этапе выборов герцог ---- был отстранён; вопрос, следовательно, стоял между лордом Раймондом и мистером Райлендом. Последний был уверен в победе до появления Раймонда; и с тех пор, как его имя было внесено в список кандидатов, он энергично агитировал. Он появлялся каждый вечер, в его взгляде были заметны нетерпение и гнев, он хмурился на нас с противоположной стороны Сент-Стивенса, словно его нахмуренный взгляд мог бросить тень на наши надежды.

Всё в английской конституции было урегулировано для лучшего сохранения мира. В последний день разрешалось оставаться только двум кандидатам; и чтобы по возможности избежать последней борьбы между ними, предлагалась уступка тому, кто добровольно откажется от своих притязаний; ему давалось место с большим доходом и почётом, и его успех на будущих выборах облегчался. Однако, как ни странно, до сих пор не было случая, чтобы какой-либо кандидат прибегал к этому средству; в результате закон устарел, и никто из нас не ссылался на него в наших обсуждениях. К нашему величайшему удивлению, когда было предложено образовать комитет для выборов лорда-протектора, член, выдвинувший Райленда, встал и сообщил нам, что этот кандидат отказался от своих притязаний. Его сообщение сначала было встречено молчанием; затем раздался смущённый ропот; и когда председатель объявил лорда Раймонда должным образом избранным, это переросло в возглас аплодисментов и победы. Казалось, что, далеко не боясь поражения, даже если бы мистер Райленд не отказался, все голоса объединились бы в пользу нашего кандидата. В самом деле, теперь, когда мысль о состязании была отброшена, все сердца вернулись к своему прежнему уважению и восхищению нашим совершенным другом. Каждый чувствовал, что Англия никогда не видела протектора, столь способного выполнять трудные обязанности этой высокой должности. Единный голос, слившийся из многих, прозвучал по всей палате; он произносил имя Раймонда.

Он вошёл. Я был на одном из самых высоких мест и видел, как он прошёл по проходу к столу спикера. Природная скромность его нрава победила радость его триумфа. Он огляделся робко; туман, казалось, стоял перед его глазами. Адриан, который был рядом со мной, поспешил к нему и, спрыгнув со скамей, в одно мгновение оказался рядом с ним. Его появление оживило нашего друга; и когда он заговорил и стал действовать, его колебание исчезло, и он засиял во всём своём величии и победе. Бывший протектор предложил ему присягу и вручил знаки отличия, совершая церемонии вступления в должность. Затем палата распустилась. Главные члены государства толпились вокруг нового магистрата и проводили его во дворец правительства. Адриан внезапно исчез; и к тому времени, когда сторонники Раймонда сократились до одних лишь наших близких друзей, он вернулся, ведя Идрис, чтобы поздравить её друга с успехом.

Но где была Пердита? Заботливо продумывая пути к отступлению в случае неудачи, Раймонд забыл устроить способ, которым она должна была узнать о его успехе; и она была слишком взволнована, чтобы вспомнить об этом обстоятельстве. Когда Идрис вошла, Раймонд до такой степени забылся, что спросил о моей сестре; одно слово, сообщившее о её таинственном исчезновении, отрезвило его. Правда, Адриан уже пошёл искать беглянку, воображая, что её неукротимая тревога привела её в окрестности Палаты и что какое-то злое событие задерживает её. Но Раймонд, не объясняясь, внезапно покинул нас, и через мгновение мы услышали, как он галопом понёсся по улице, несмотря на ветер и дождь, обрушившие бурю на землю. Мы не знали, как далеко ему нужно было ехать, и вскоре разошлись, предполагая, что через некоторое время он вернётся во дворец с Пердитой и что они будут не прочь остаться наедине.

Пердита прибыла со своим ребёнком в Дартфорд, плача и безутешная. Она велела приготовить всё для продолжения их путешествия и, уложив свою спящую прелестную малышку на кровать, мучительно провела несколько часов. Иногда она наблюдала за бурей, думая, что и стихии восстали против неё, и слушала барабанный дождь в мрачном отчаянии. Иногда она склонялась над своим ребёнком, прослеживая его сходство с отцом и боясь, что в будущей жизни он проявит те же страсти и необузданные порывы, которые делали его несчастным. Снова, с приливом гордости и восторга, она замечала в чертах своей маленькой девочки ту же улыбку красоты, которая часто озаряла лицо Раймонда. Вид её успокаивал её. Она думала о сокровище, которым обладала в привязанности своего господина; о его достоинствах, превосходящих его современников, о его гении, о его преданности ей. — Вскоре она подумала, что всем, что она имела в мире, кроме него, можно было бы легко пожертвовать, более того, отдать с радостью, как искупительную жертву, чтобы обеспечить то высшее благо, которое она сохранила в нём. Вскоре она вообразила, что судьба требует от неё этой жертвы как знака того, что она посвящена Раймонду, и что это должно быть сделано с готовностью. Она представляла себе их жизнь на греческом острове, который он выбрал для их уединения; свою задачу утешать его; свои заботы о прекрасной Кларе; свои прогулки в его обществе; своё посвящение себя его утешению. Затем картина предстала перед ней в таких ярких красках, что она испугалась обратного — жизни в роскоши и могуществе в Лондоне; где Раймонд уже не был бы только её, и она не была бы единственным источником счастья для него. Насколько касалось её, она начала желать поражения; и только ради него её чувства колебались, когда она услышала, как он галопом въехал во двор гостиницы. Что это могло означать, кроме того, что он пришёл к ней один, промокший под бурей, не заботясь ни о чём, кроме скорости, что, побеждённый и одинокий, они должны были покинуть родную Англию, сцену позора, и укрыться в миртовых рощах греческих островов?

В одно мгновение она была в его объятиях. Знание его успеха стало настолько частью его самого, что он забыл, что необходимо сообщить об этом своей спутнице. Она чувствовала в его объятиях лишь дорогую уверенность, что пока он владеет ею, он не отчаётся. «Это благородно, — воскликнула она; — это великодушно, мой собственный возлюбленный! О, не бойся позора или низкой доли, пока у тебя есть твоя Пердита; не бойся печали, пока наше дитя живо и улыбается. Пойдём даже туда, куда ты захочешь; любовь, которая сопровождает нас, предотвратит наши сожаления.»

Зажатая в его объятиях, она говорила так и откинула голову назад, ища в его глазах согласия на её слова — они сверкали неизъяснимым восторгом. «Что это, моя маленькая повелительница, — сказал он шутливо, — что ты говоришь? И какой хорошенький план изгнания и безвестности ты сплела, в то время как совсем иная, златотканая ткань — вот что тебе на самом деле следует созерцать?»

Он поцеловал её в лоб — но своенравная девушка, наполовину опечаленная его торжеством, взволнованная быстрой сменой мыслей, спрятала лицо у него на груди и заплакала. Он утешал её; он делился с ней своими надеждами и желаниями; и вскоре её лицо засияло сочувствием. Как счастливы они были в ту ночь! Как полно, до краёв, было их чувство радости!

---

[1] Цинциннат (V в. до н. э.) — римский патриций, дважды избиравшийся диктатором и после победы возвращавшийся к частной жизни; стал символом гражданской доблести и скромности.

## ГЛАВА VII

Убедившись, что наш друг вступил в должность, мы устремили взоры к Виндзору. Близость этого места к Лондону была такова, что мы не ощущали мучительной разлуки, расставаясь с Раймондом и Пердитой. Мы простились с ними во дворце Протектора. Довольно забавно было видеть, как моя сестра входила, так сказать, в дух этой драмы и старалась исполнять свою роль с подобающим достоинством. Её внутренняя гордость и природная скромность теперь более чем когда-либо воевали друг с другом. Её робость была неподдельной, но проистекала из боязни, что её не оценят по заслугам, и из того пренебрежения к общественному мнению, которое было свойственно и Раймонду. Однако Пердита думала о других больше, чем он; и часть её застенчивости объяснялась желанием не ставить окружающих в неловкое положение — чувства, которое ей самой было чуждо. По своему рождению и воспитанию Идрис была бы более приспособлена к придворным церемониям; но та лёгкость, с какой она их исполняла, проистекала из привычки, а потому утомляла её. Пердита же, при всех своих недостатках, явно находила удовольствие в своём новом положении. Она была слишком полна новых впечатлений, чтобы сильно горевать о нашей разлуке; она нежно простилась с нами и обещала вскоре навестить, но не сожалела о событиях, которые нас разлучили. Раймонд был полон безграничных замыслов; его голова кипела планами, он ещё не остановился ни на одном, но обещал себе, друзьям и миру, что эра его протекторства будет ознаменована каким-нибудь небывалым деянием. Так мы говорили о них, размышляя, и в более узком кругу возвращались в Виндзорский замок. Мы испытывали огромное облегчение, освободившись от политической суеты, и с удвоенной страстью искали уединения. Нам не было недостатка в занятиях; но моя пылкая натура теперь обратилась к умственным упражнениям, и я нашёл, что упорный труд — превосходное лекарство от той душевной лихорадки, которая непременно одолела бы меня в праздности. Пердита позволила нам взять Клару обратно с собой в Виндзор; и она вместе с моими двумя малышами стала для нас постоянным источником радости и заботы.

Единственным, что омрачало наш покой, было здоровье Адриана. Оно заметно ухудшалось, без явных признаков болезни, разве что его лихорадочный блеск глаз и пылающие щёки заставляли нас опасаться чахотки; но он не испытывал ни боли, ни страха. Он с жаром отдался книгам и отдыхал от занятий в обществе, которое любил больше всего, — в обществе сестры и моём. Иногда он навещал Раймонда в Лондоне и следил за ходом дел. Клара часто сопровождала его — отчасти чтобы повидать родителей, отчасти потому, что Адриан любил слушать лепет и смотреть в умные глаза этого прелестного ребёнка.

В Лондоне тем временем всё шло хорошо. Выборы завершились, парламент собрался, и Раймонд был поглощён множеством полезных начинаний. Он затеял каналы, акведуки, мосты, величественные здания и разные сооружения для общественной пользы; его постоянно осаждали изобретатели и прожектёры, которые сулили превратить Англию в край изобилия и великолепия. Бедность должна была быть упразднена; людей собирались перемещать с места на место почти с той же лёгкостью, что и героев «Тысячи и одной ночи». Физическое состояние человека скоро должно было сравняться с ангельским блаженством; болезни предстояло изгнать, труд облегчить. И это не казалось чрезмерным. Искусства и науки развивались так стремительно, что оставляли позади все прежние расчёты; пища, казалось, произрастала сама собой — существовали машины, способные с лёгкостью удовлетворять любые нужды. Зло по-прежнему таилось в людских душах; и люди страдали не оттого, что не могли, а оттого, что не желали пробудиться и одолеть самими же воздвигнутые преграды. Раймонд должен был вдохновить их своей благотворной волей, и тогда общественный механизм, раз приведённый в безупречный порядок, уже никогда не даст сбой. Ради этих надежд он отказался от своей

давней мечты прославиться как завоеватель; отложив меч, он избрал своей целью мир и его вечные блага — он стремился стать благодетелем своей страны.

Среди прочих замыслов он задумал создать национальную галерею для статуй и картин. Он сам владел многими произведениями, которые намеревался подарить Республике; и, поскольку это здание должно было стать главным украшением его протекторства, он был очень требователен к выбору проекта. Сотни проектов были отвергнуты. Он посылал за чертежами даже в Италию и Грецию, но, желая соединить оригинальность с совершенной красотой, долго не мог найти подходящего. Наконец пришёл чертёж с адресом для ответа, но без подписи автора. Замысел был нов и изящен, но имел недостатки; настолько серьёзные, что, хотя рисунок был сделан рукой художника, он явно не был делом архитектора. Раймонд смотрел на него с восхищением; чем дольше вглядывался, тем больше он ему нравился, но при этом ошибки становились всё заметнее. Он написал по указанному адресу, желая встретиться с автором, чтобы внести изменения совместно.

Пришёл грек — человек средних лет, с осмысленными манерами, но столь заурадной внешностью, что Раймонд едва мог поверить, что это и есть автор проекта. Тот признался, что он не архитектор; но идея здания пришла ему в голову, и он отправил чертёж без всякой надежды на успех. Он был немногословен. Раймонд расспрашивал его, но его сдержанные ответы заставили обратиться к самому чертежу. Он указал на ошибки и желаемые изменения; он предложил греку карандаш, чтобы тот мог исправить набросок на месте; посетитель отказался, сказав, что понял и исправит дома. Раймонд отпустил его.

На следующий день он вернулся с переделанным чертежом, но многие недостатки всё ещё оставались, а некоторые указания были поняты неверно. «Послушайте, — сказал Раймонд, — вчера я уступил вам, теперь исполните мою просьбу — возьмите карандаш.» Грек взял его, но обращался с ним неловко; наконец он признался: «Должен признаться, милорд, что я не делал этот чертёж. Вам не суждено увидеть настоящего автора; все ваши указания должны проходить через меня. Соблаговолите же набраться терпения к моему невежеству и объяснить мне свои пожелания; со временем я уверен, вы будете удовлетворены.» Раймонд пытался вывести больше, но грек не сказал ни слова. Можно ли допустить архитектора к автору? И это было отказано. Раймонд повторил свои указания, и посетитель ушёл. Однако наш друг не оставил своего намерения. Он подозревал, что тайна кроется в крайней бедности и что художник не хочет показываться в нищенском виде. Это лишь укрепило его желание найти автора; поэтому он велел сведущему человеку проследить за греком в следующий его приход и разузнать, где он живёт. Посланец выполнил поручение и проследил за греком до одной из самых бедных улиц столицы. Раймонд не удивился, что художник скрывается в таком положении, но не изменил своего решения.

В тот же вечер он один отправился по указанному адресу. Бедность, грязь и запустение бросались в глаза. Увы! подумал Раймонд, мне предстоит ещё многое сделать, прежде чем Англия станет раем. Он постучал; дверь открылась на верёвке сверху — перед ним была сломанная лестница, никого не видно; он постучал снова, но без ответа; тогда, потеряв терпение, он поднялся по тёмной, скрипучей лестнице. Главным его желанием теперь, когда он увидел нищету художника, было помочь тому, кто обладал талантом, но был удручён нуждой. Он представлял себе юношу с горящими глазами гения и телом, истощённым голодом. Он боялся оскорбить его, но надеялся, что его великодушие будет проявлено достаточно деликатно, чтобы не вызвать отпора. Какое человеческое сердце закрыто для добра? и хотя крайняя бедность могла сделать страдальца неспособным принимать благодеяние, рвение благодетеля должно было в конце концов смягчить его. Эти мысли ободрили Раймонда, когда он стоял у двери самой верхней комнаты. Попытавшись войти в другие комнаты без успеха, он заметил за порогом этой пару маленьких турецких туфель; дверь была приоткрыта, но внутри было тихо. Вероятно, обитатель отсутствовал, но, уверенный, что нашёл нужное место, Протектор

искушён был войти, оставить кошелёк на столе и безмолвно удалиться. С этой мыслью он осторожно толкнул дверь — но комната была обитаема.

Раймонд никогда не посещал жилищ нужды, и сцена, представшая перед ним, поразила его сердце. Пол во многих местах провалился; стены были голые, потолок в подтёках; в углу стояла рваная кровать; в комнате было лишь два стула и грубый сломанный стол, на котором горела свеча в оловянном подсвечнике; и всё же среди этого убожества царили порядок и чистота, удивившие его. Мысль была мимолётной, ибо всё его внимание привлекла обительница этого жалкого жилища. Это была женщина. Она сидела за столом; одна маленькая рука заслоняла глаза от свечи, в другой она держала карандаш; взгляд её был устремлён на рисунок, который Раймонд узнал как представленный ему чертёж. Весь её облик пробудил в нём глубочайший интерес. Тёмные волосы были заплетены и уложены в тугие узлы, как у греческой статуи; одежда бедна, но поза могла служить образцом грации. Раймонд смутно припомнил, что видел эту фигуру прежде; он перешёл комнату. Она не подняла глаз, лишь спросила по-новогречески: «Кто там?» «Друг», — ответил Раймонд на том же наречии. Она с удивлением взглянула на него, и он узнал Эвадну Заими. Эвадну, некогда кумир Адриана; ту, что ради него, нынешнего посетителя, презрела благородного юношу, а затем, покинутая тем, кого любила, с разбитыми надеждами и мучительной болью в сердце, вернулась в Грецию. Какая судьба привела её в Англию и поселила в таком жилище?

Раймонд узнал её, и его манера тут же переменилась: от учтивой благотворительности к самым тёплым уверениям в доброте и участии. Вид её в столь жалком положении пронзил его душу. Он сел рядом, взял её за руку и говорил много слов, исполненных сострадания и нежности. Эвадна молчала; её большие тёмные глаза были опущены; наконец слеза блеснула на ресницах. «Вот так, — воскликнула она, — доброта делает то, чего не могли сделать ни нужда, ни страдания; я плачу.» Она и вправду залилась слезами; её голова бессознательно склонилась на плечо Раймонда; он держал её руку и поцеловал её впалую, заплаканную щёку. Он сказал, что её страданиям пришёл конец: никто не умел утешать так, как Раймонд; он не рассуждал и не поучал, но его взгляд сиял сочувствием; он рисовал перед страдальницей отрадные картины; его ласки не могли внушить недоверия, ибо они были чисты, как поцелуй матери, склонённой над раненым дитятей, — он хотел всеми силами показать искренность своих чувств и желание залечить раны несчастной. Когда Эвадна обрела спокойствие, его тон даже стал весёлым; он шутил над её бедностью. Что-то подсказывало ему, что тяжесть на её сердце — не столько нужда, сколько унижение и позор; и он старался избавить её от них, то с похвалой говоря о её стойкости, то называя её своей принцессой в изгнании. Он предлагал ей свою помощь; она была слишком поглощена своими мыслями, чтобы принять или отвергнуть её; наконец он ушёл, обещав вернуться на следующий день. Он вернулся домой в смятении чувств — боль от нищеты Эвадны смешивалась с радостью, что он сможет облегчить её участь. Какая-то неясная причина удержала его от того, чтобы рассказать об этом Пердите.

На следующий день он накинул плащ и снова отправился к Эвадне. По дороге он купил корзину дорогих фруктов, таких, какие растут в её родной стране, и, украсив их цветами, сам принёс их на убогий чердак. «Взгляни, — сказал он, входя, — какую птичью пищу я принёс моему воробью на кровле.»

Эвадна поведала ему историю своих несчастий. Её отец, хотя и знатного рода, промотал состояние и погубил свою репутацию и влияние распутной жизнью. Его здоровье было безнадежно подорвано; и перед смертью он страстно желал уберечь дочь от бедности. Поэтому он нашёл для неё, и убедил её согласиться на брак с богатым греческим купцом из Константинополя. Она покинула Грецию; отец умер; постепенно она лишилась всех своих юношеских связей.

Война между Грецией и Турцией, начавшаяся около года назад, принесла ей много бед. Муж разорился, а затем, во время мятежа и угрозы резни, они бежали ночью на открытой

лодке к английскому судну, которое и привезло их сюда. Немногие спасённые драгоценности поддерживали их некоторое время. Эвадна напрягала все силы, чтобы поддержать падающий дух мужа. Потеря состояния, безнадежность будущего, праздность, к которой приговорила его бедность, — всё это вместе довело его почти до безумия. Через пять месяцев после прибытия в Англию он покончил с собой.

«Вы спросите меня, — продолжала Эвадна, — что я делала всё это время; почему я не обратилась к здешним богатым грекам, почему не вернулась на родину? Мой ответ покажется вам неудовлетворительным, но он был для меня достаточен, чтобы день за днём сносить лишения, вместо того чтобы искать облегчения. Дочь благородного Заими — должна ли она предстать нищенкой перед своими ровнями или перед низшими? Должна ли я склонить голову и рабски продать своё достоинство ради жизни? Будь у меня ребёнок или другая привязанность, я, возможно, унизилась бы — но теперь мир был для меня мачехой; я охотно покинула бы это обиталище и забыла бы в могиле свою гордость, свои битвы, своё отчаяние. Скоро придёт время; голод и горе уже подточили мои силы; я исчезну, не запятнанная самоубийством, не уязвлённая памятью унижения, и мой дух обретёт покой, достойный стойкости и смирения. Возможно, вам это покажется безумием; но у вас тоже есть гордость и решимость, так поймите же, что моя гордость неукротима, моя решимость неизменна.»

Она замолчала, закончив свой рассказ и объяснив причины, по которым не обращалась за помощью к соотечественникам. Казалось, она хотела сказать ещё что-то, но не находила слов. Раймонд был красноречив. Он с жаром говорил о том, как вернуть ей прежнее положение и благосостояние. Но она остановила его и потребовала обещания, что он никому не откроет её убежища. «Родные графа Виндзорского, — сказала она надменно, — конечно, считают, что я причинила ему зло; возможно, сам граф оправдал бы меня, но я не заслуживаю оправдания. Я всегда действовала по велению сердца. Эта нищета, по крайней мере, может доказать моё бескорыстие. Я не желаю защищаться перед ними, даже перед вами, если бы вы не нашли меня сами. Мои поступки говорят сами за себя — я скорее умру, чем стану посмешищем. Взгляните на гордую Эвадну в лохмотьях! Взгляните на нищую принцессу! В этой мысли — яд. Обещайте мне сохранить тайну.»

Раймонд пообещал. Но затем начался новый спор. Эвадна потребовала, чтобы он без её согласия не предпринимал ничего для её блага и не предлагал помощи. «Не унижайте меня в моих собственных глазах, — сказала она. — Бедность давно стала моей кормилицей; у неё суровое лицо, но она честна. Если ко мне приблизится бесчестье — или то, что я таковым считаю, — я погибла.» Раймонд приводил убедительные доводы, но она осталась непреклонна; взволнованная спором, она дала торжественную клятву бежать и скрыться там, где он никогда её не найдёт, где голод скоро принесёт ей смерть, если он будет настаивать на своих, позорящих её, по её мнению, предложениях. Она могла содержать себя, сказала она, и показала, как, выполняя рисунки и картины, зарабатывает себе на скудное пропитание. Раймонд уступил на время. Он был уверен, что постепенно дружба и разум возьмут верх.

Но чувства, двигавшие Эвадной, были глубоко укоренены в её душе, и он не мог их понять. Эвадна любила Раймонда. Он был героем её воображения, образом, навеки запечатлённым любовью в её сердце. Семь лет назад, в юности, она полюбила его; он воевал с турками за её страну и снискал на её земле военную славу, столь дорогую грекам. Но когда он вернулся и появился на английской сцене, она не добилась его любви — он тогда колебался между Пердитой и короной. Пока он ещё не решил, она покинула Англию; весть о его женитьбе достигла её, и её надежды увяли. Слава жизни померкла для неё; розовое сияние любви, окрашивавшее все предметы, исчезло; она смирилась с серой реальностью. Она вышла замуж; перенесла свою беспокойную энергию в новые обстоятельства, она обратилась к честолюбию и стремилась стать княгиней Валахии, мечтая принести пользу своей стране. Но она познала, что честолюбие — такая же призрачная мечта, как и любовь. Её интриги с Россией возбудили подозре-

ния Порты и враждебность греков; её сочли предательницей; муж разорился; они бежали, и она низверглась в английскую бедность. Многие из этой истории она скрыла от Раймонда; она не призналась, что любой грек отверг бы её как преступницу, принёсшую косу иностранного деспотизма к новым свободам своей страны.

Она знала, что была причиной полного разорения мужа; и она собралась с силами, чтобы вынести последствия. Упреки, вырывавшиеся у него в агонии, или, хуже того, его безмолвное, беспросветное оцепенение — всё это терзало её. Она винила себя в его смерти; вина и наказание, казалось, окружали её; тщетно она пыталась утишить угрызения совести памятью о своей честности; мир и она сама судили о её поступках по их последствиям. Она молилась за душу мужа; она умоляла Всевышнего возложить на неё грех его самоубийства и поклялась жить, чтобы искупить его вину.

Среди этого отчаяния, которое должно было скоро сломить её, у неё оставалось одно утешение. Она жила в одной стране с Раймондом, дышала одним воздухом. Имя Протектора было у всех на устах; его достижения, проекты и великолепие были темой каждой беседы. Для женского сердца ничто так не сладостно, как слава и превосходство любимого; и Эвадна упивалась его славой и процветанием. При жизни мужа она считала это чувство преступлением и подавляла его. Когда он умер, любовь хлынула с прежней силой и затопила её душу; она отдалась её неукротимому потоку.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.